

Жизни и роли



Иннокентий
Смоктуновский
Быть!



Жизни и роли

Иннокентий Смоктуновский
Быть!

«Алгоритм»

2017

УДК 791.44.071.2 Смоктуновский И.М.
ББК 85.374.3(2)6-8 Смоктуновский И.М.

Смоктуновский И. М.

Быть! / И. М. Смоктуновский — «Алгоритм»,
2017 — (Жизни и роли)

ISBN 978-5-906947-10-9

«Вы называли меня гениальным актером. Но почему же тогда мне все так трудно?!» (Иннокентий Смоктуновский) Каких только суждений ни достаивался Иннокентий Смоктуновский! Ярлыки закрепляли сыгранные им «странные персонажи» — князь Мышкин, Гамлет, Иудушка Головлев, Деточкин, чеховский Иванов... Он как бы срастался с ними. Сам, теперь уже без сомнения великий артист, говорил об этом так: «Бывают такие времена в работе и самочувствии актеров, когда знание огромных текстов наизусть — ничто по сравнению с правом на произнесение этого текста. Вот груз. Вот гранит, алмаз, глыба...» Светлой полосой своей жизни он считал время, освещенное героями Достоевского. С детства много раз перечитывая «Преступление и наказание», Смоктуновский начал сниматься в фильме по знаменитому роману, зная его чуть ли не наизусть и признаваясь: «Я счастлив оттого, что не только не одинок, а просто разделяю общую любовь всего просветленного Достоевским человечества». В этой книге, написанной самим артистом, все оставлено так, как было задумано автором. В ней он предельно искренен, как и в своих ролях.

УДК 791.44.071.2 Смоктуновский И.М.
ББК 85.374.3(2)6-8 Смоктуновский И.М.

ISBN 978-5-906947-10-9

© Смоктуновский И. М., 2017

© Алгоритм, 2017

Содержание

Помню	7
Это было так давно...	7
Завершая год	28
Три ступеньки вниз	36
Свет	66
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Иннокентий Михайлович Смоктуновский

Быть!

© И. Смоктуновский, 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Помню

Это было так давно...

Полвека...

Будут речи, их будет много. Будет долгое, но оттого не менее торжественное перечисление достижений наших, наших общих побед. Это естественно. Странно, если б не было этого долгого перечня наших трудов, радостей, завоеваний. Они должны быть – мы знаем, и они есть – мы уверены, и они еще будут – мы надеемся. Уж такими плодоносными, хотя и нелегкими, беспокойными, были эти пятьдесят лет, чтобы не принести нам уверенности в самих себе, в наших стремлениях.

Полвека. Нет, лучше – пятьдесят. Пятидесятилетие. Может быть, как раз специфика работы требовала и учила выявлять полное, отказываясь от полумер. Разница не в словах, для меня здесь суть; моей жизни нет этих пятидесяти, и это они дали моей жизни форму. Не хочу, не могу пребывать в половинчатости. Этому учили меня жизнь, мать, друзья. Это подсказывают дети.

Дочь, маленькая Машка, выспалась днем и долго не могла уснуть поздним темным вечером. Я одел ее, и мы пошли бродить по лесным тропинкам. Здрава мордашку, она пальчиком то там то сям отмечала только что появившиеся звезды. Я объяснил ей как мог, что это светила, как и наше солнце, только они очень далеко, значительно дальше, чем мы отошли от нашего дома, но до дому тоже далеко, и поэтому надо возвращаться, мама будет недовольна такой долгой прогулкой. Дома я попросил дочь: «Расскажи маме, что мы видели».

– Звезды, – ответила она просто.

Мама спросила:

– Папа тебе не достал звезду?

– Нет.

– Как ты думаешь, папа может достать звезду?

Мордашка была до того серьезной – нельзя было не заметить, что зреет некое мироощущение; и она ответила:

– Да. Палкой только.

Все сполна, и человек рожден, чтоб видеть, пользоваться полнотой окружающего его, и не беда, коли звезды поначалу достают палкой. Ведь надо учиться чем-то тянуться к ним. Я в детстве дотягивался до ранеток и подсолнухов в чужом саду – это моя полнота стремлений, мои возможности тогда...

Теперь дети иные. И мы не можем не гордиться их поиском полноты и «космически длинных палок». Жизнь, время докажут возможность осуществления самых дерзких мечтаний и близость недостижимого. Пятьдесят лет заставили нас верить в это. Время, время... Если бы его можно было поворачивать вспять, наверное, мы стали бы все делать так хорошо, уж так славно, что после не оставалось бы ничего другого, как только радоваться и гордиться. И было б тогда все так хорошо, чудно.

Но время – вещь необычайно длинная; и оно почему-то катит только вперед. И уж давно открыта истина, что прошлое по отношению к будущему находится в настоящем, а настоящее к будущему – в прошлом. Не к чему крутить колесо. Мы жили, живем и – самое, пожалуй, главное – будем жить. Если же сейчас нам ведома не одна гордость за содеянное, а вместе с ней не оставляет досада за ошибки прошедшего, то просто мы – наследные обладатели и боли, и радости, и надежд. Наверное, и сейчас мы совершаем какие-то промахи, которые поймем несколько позже, потому что еще не знаем, не выявили и всех своих достоинств.

Время неумолимо. Оно разделяет людей на поколения; но оно же соединяет их.

Странно и, больше того, парадоксально: я, который учился в школе далеко не наилучшим образом, теперь, когда мой сын (в четвертом классе) приносит четверку, совершенно искренне нахожу в себе основания возмущаться и упрекать его. Что это – власть ли родителя, неосознанный ли педагогический ход, проявление вздорного характера или обычная забота старших о младших, вступающих в жизнь? А может, предостережение от тех ошибок, которые не задумываясь делал я и которые теперь наконец стали для меня очевидны? Не попадаю ли я в такое же смешное и беспомощно-невесомое положение, как тот незадачливый папаша из старого рассказа?..



Мать Анна Акимовна Смоктунович



Отец Михаил Петрович Смоктунович



Оттопыренные уши, веснушки и друг детства (у меня еще рыжий вихор)

«Отец (*упрекая*). Когда Авраам Линкольн был в твоём возрасте, он был лучшим учеником в классе.

Сын (*не задумываясь*). Когда Авраам Линкольн был в твоём возрасте, он был президентом».

Суть стара, но и всегда нова – во времени. Не кроется ли в крошечном рассказе большая глубина, чем просто юмор или чем просто может показаться? Понять одного можно, но и не понять другого нельзя.

Обстоятельства. Люди. Время.

Вот, пожалуй, время – единственный по-настоящему оправдывающий меня фактор. Мы печемся о наших маленьких гражданах, о их судьбах, зная сложность настоящего и готовя их к доброму, но не менее сложному будущему. Годы торопят и повышают требовательность. И все сильнее ощущаешь, как необходимо все более полно выявлять свои, наши желания, способности.

Конечно, это дерзость, но предположить, что в какой-то мере мы знаем себя, – можно. Если не в полной, то уж, в любом случае, чуть лучше, чем всякий со стороны.

Но и обольщаться, я думаю, тоже не следует: мы о себе знаем немного. И это прекрасно.

Потому что мы – в стремлении познать себя. В этом стремлении ищем возможностей совершенствоваться. И если говорить об особых приметах или наиболее характерных отличительных чертах наших, то не отметить широты натуры, доходящей до беспечности, доброты, граничащей с расточительностью, просто нельзя. Быть может, это слишком одно-

стороннее суждение. Не знаю наверное, но настаиваю, что ширью доброты мы вправе гордиться; впрочем, так же, как не можем не ратовать за ее разумное проявление...

Все чрезмерное оборачивается едва ли не противоположностью. Мы не всегда владеем своими сдерживающими центрами. Это нередко приводит к разочарованию. К угрызению совести. Или скажем просто: к провалам в реализации наших желаний.

Широта натуры – само по себе понятие, вмещающее многое. А если мы, закусив удила, начинаем демонстрировать это качество, то легко оказываемся в положении жителей потемкинских деревень – фасад красив, но и только. От доброты душевной мы легко жонглируем словами: талантливо, гениально, удивительно, феноменально. Ярлык есть – и ладно! Он избавляет от труда мыслить, анализировать и делать справедливый вывод. Мы добрые, верим на слово. А почуяв некоторые шероховатости, успокаиваем себя: их-де сравняет широта взгляда. Отметив размах в общем, увы, упускаем промахи в частностях. Когда привыкнешь к подобному воззрению, есть риск упустить главное – объективность, правду, – ежели не быть честными служителями, жрецами ее даже в те минуты, когда она не причисана и не так уж красива, как того требуют каноны добропорядочности.

Ни время, прошедшее с момента случившегося, ни наша добрая, светлая память о Евгении Урбанском не должны затмить его – такого, каков он был.

Он завоевал нас обаянием простоты и прямоотой суждений. Именно эти его качества не позволяют нам сочинять о нем легенды, приукрашивать действительность. Женя был достаточно достойный человек, чтобы о нем можно и должно было говорить правду, и ничего, кроме правды.

Только тогда мы сможем в полной мере выявить его суть и горечь потери его.

Женька, Женька, ну зачем ты сел в тот автомобиль?..

Я знаю, ты не мог не поехать, ты не любишь передоверять и не знаешь своих пределов. В тебе было чрезмерно много «я сам!», «я сам!». Да, с твоей силищей трудно было понять, что человек не безграничен. Автомобиль лежит на боку, а тебя...

Евгений Урбанский был добр, как хлеб, и прост, как земля.

Вот несколько запомнившихся когда-то прожитых минут.

Вечерами, свободными от дневных лихорадок-съежек, как-то отрешенно припав к гитаре, на каких-то умиротворяющих низких обертонах он приглашал вас в листопад, где некогда было так просто и бездумно, что, вспоминая, вы понимаете всю непоправимость утраты и только можете, как человек, не сумевший уберечь свое счастье, лишь улыбаться невпопад и всем существом своим говорить, что это было так давно, что грустить теперь смешно. И все же вы грустите, неловко улыбаясь, потому что не все в жизни зависит от вас, а быть может, и скорее всего, вы принесли себя в жертву долгу или чему-то еще более значительному и теперь вам не осталось ничего другого, как только одиноко бродить по воспоминаниям и тихо осыпающемуся саду...

У каждого свой листопад. Если даже все было прекрасно, листопад придет, придет осень с шуршанием пожелтевшей листвы.

Схваченные ветром на лету,
Листья пролетают там и тут.
Это было так давно,
Что грустить теперь смешно.
Ну а если грустно, все равно.

В минуту, когда мы были готовы предаться светлой грусти по дорогим нам людям, оставшимся где-то за хребтом Саянских гор, далеко от нашей таежной съемочной площадки, он, заграбастав ту же самую гитару, как любимую подружку, в свои огромные, но красивые

ручищи, вроде бы наказуя нас за минуты слабости и саможаления (здесь он хитрил, ему радостно было узнавать власть своего голоса и умения; да полноте, он больше освобождался сам от грусти и тоски по оставшимся в Москве, хотя всячески старался это скрыть), – он переправлял нас к тому, что уже состоялось наверняка, не только было, но и есть, стало привычкой – доброй привычкой, которой, увы, все так же мало.

Дроля мой, ах, дроля мой,
На сердце уроненный...

Бедная гитара, как он ее терзал! В такие минуты ей многое приходилось претерпеть, пережить. Не они ли – минуты самоотверженной привязанности к человеку – перерождали кусочек дерева в гордую и страстную гитару? Оставаясь гитарой, она, служа Женьке, умудрялась быть и контрабасом, и ударником, банджо, мандолиной, нашей наивной русской балалайкой. Была его верной подружкой и делала для него все, чего бы он ни захотел. Он был порою груб, награждая ее всевозможными надписями и росписями; на гитарной спине – размашисто выцарапанная карта Красноярского края и все меткое, злободневное, что сопровождало и было нашей съемочной жизнью.

Потом она с ним вернулась в Москву и пожертвовала собой, разлетевшись в щепы, когда в минуту обиды, неудовлетворенности собой и окружающими попросилась в руку хозяина, чтоб уберечь его от больших неприятностей.

Она была мудрая, гитара, а он – легко ранимым, обидеть его мог ребенок.

Помню, во время съемок «Неотправленного письма» он вскормил двух соколов, и они, выучившись летать, куда-то исчезали, но всегда возвращались, находили его, доверчиво садились на плечи и голову. Даже когда отснявшись он уехал, соколы еще долго прилетали в лагерь, но все наши старания заменить Женю оканчивались неудачей. Им нужен был он. И соколы улетали.

Найдя их на берегу Енисея, он и нарек одного – Еня, другого – Сея. Сочинил о них сказ и под гитару, как под гусли, распевал на былинно-мудрый манер:

На реке на Енисее
Жили-были Еня с Сеей.
Еня жрал все, что попало,
Сее было всего мало...

Я не помню дальше слов, но это был смешной, симпатично-глупый рассказ о ненасытных птичьих утробах, прожорливости, достойной Гаргантюа с Пантагрюэлем, и о том, как в конце концов Еня с Сеей сожрали своего человеческого кормильца, отдав ему, впрочем, должное: недурен оказался на вкус.

Действительно, выходить этот хилый народ – поначалу их было трое (третьего звали Ус, тоже по названию реки, на которой стоял наш лагерь) – было совсем нелегко. Понадобились не только Женина изобретательность, но и сторонние советы многих других, после чего Ус и издох. Я ожидал, что Женя расстроится. Ничуть! Наоборот, с еще большим ожесточением он принялся холить своих соколов. И безжалостно расстреливал мелкую живность вокруг лагеря. Мне было жаль птах, и я сказал:

– Не вижу в этом резона. Чтоб жили одни, ты убиваешь других. Что-то здесь не так.

– Быть может, в этом начало бессмертия... Вороны и соколы живут триста лет и больше. Они пронесут суть моей заботы через века. Посмотри, какие они гордые. Это от сознания долголетия.

– Так вот уж прямо и сознание...

– Ловишь, мерзавец! Не от сознания – так от чувства или от чего-нибудь другого. От инстинкта.

– Есть инстинкт жизни, но не долголетия.



Очень старый снимок из 14-й школы г. Красноярск. Восьмой класс, 1941 год



Первый снимок на сцене. А.П. Чехов «Предложение». Драмкружок школы № 14 г. Красноярск

Я посмотрел. Они были еще в той поре, когда недельный цыпленок мог бы преподавать им уроки гордости и орлиного достоинства. Были они голые, из них торчали черенки будущих перьев, не то что летать да парить – держаться-то на ногах они не могли, только противно шипели и разевали клюв. В общем, ничего такого, что видел в них он, я не заметил.

– Если это признаки гордыни, я тоже горд. И ты. Пищать мы все великие мастера.

– А что ты думаешь... Быть может, в этом и есть наибольшая мудрость. Человек пищит оттого, что сам способен на большее, а не только оттого, что, видите ли, неудовлетворен имеющимся. Они пищат оттого, что хотят быть соколами. И будут ими – уже оттого, что пищат. Требуют – недовольны худым, голым детством. Они ж вылупились соколами!

Он сделал очень серьезное лицо и пошел нарочито плавно, давая понять, что не может, не должен, черт побери, расплескать, потерять то, что только сейчас посетило его и осенило, открыв в простоте незыблемость. Ему не свойственны были кривляния, так же, кстати, как и камни за пазухой. Уже издали он крикнул:

– Не путай! Одно дело – ныть, совсем другое – пищать!

Через несколько минут послышались выстрелы вновь испеченного философа, выстраивающего собственное мироздание столь странным путем. Пищать – значит мочь, значит быть.

Я не знаю никого из актеров, кто бы мог стать вровень с ним по силе социальной убежденности, гражданственности.

Его Губанов в «Коммунисте» будет для меня долго служить образцом человеческой страстности, а Астахов в «Чистом небе» – стойкости и веры в доброе.

Он обладал могучим даром убеждать, отдавая первенство не перевоплощению и многоличию, а цельности.

Однажды, в бивуачных условиях съемочной жизни, он спросил меня:

– Ты любишь Маяковского?

Я невразумительно промолвил что-то вроде:

– Не очень...

Он даже не понял:

– Что?..

Я все лежал на своей полке нашего вагона. Он – на своей. А на меня уже накатывалась лавина четких, упругих рифм, мыслей, страстей. Я попробовал приподняться от неожиданности происходящего, а он продолжал в том же тоне, словно читая стихи:

Лежи, невежда,
Я сначала тебя убью,
А потом ты встанешь
просветленным,
С чувством стыда за свою
темноту...

Ему понадобилось всего два вечера. И сейчас, когда я уже давно «встал», мне понятна природа этой всеобъемлющей любви одного художника к другому. Тогда не было «чтива» как такового – была самоотрешенность. Теперь меня не поражает его великолепное знание Маяковского, потому что близость этих людей очевидна.

И как жаль, что мы в свое время не сберегли одного, а позже – другого! Для меня ясно и еще одно: до тех пор, пока живы все те, кто был хотя бы раз в обществе Урбанского, он будет жить вместе с ними. И не столь уж важно, назовут или не назовут его именем школу в далеком северном городке, где он учился (это, кажется, пока еще обсуждается). Спешить, впрочем, не обязательно. Для меня же она давно названа, дорогая мне Женькина школа. А ему и при жизни было наплевать «на бронзы многопудье и мраморную слизь»... Ты со мной, и ты в моей дороге...

Я попытаюсь поднять тот автомобиль и поведу по пути твоих стремлений. Лишь иногда будет сжиматься сердце от щемящей тоски: место рядом – пусто...

Фильм «Неотправленное письмо» давно отснят и прошел по экранам, завоевав благодарность поклонников и четко определив непримиримость противников. Последних, к сожалению, оказалось значительно больше, чем позволительно ожидать после честно, от сердца выполненного труда. Но это так, и было бы нелепо и пусто, если б было по-другому.

Истина – трудно, но рождается в споре. Не принявших фильм настолько больше, что не может быть весело, а становится еще более грустно оттого, что такого могло и не быть.

Фильм снимали самобытные, талантливые люди – режиссер Калатозов Михаил Константинович и чудо-оператор Урусевский Сергей Павлович. Люди сильные, волевые, знающие, чего они хотят в творчестве. Оттого, пожалуй, в чем-то жестокие. После успеха фильма «Летят журавли» им нельзя отказать в праве на свое видение в кинематографе, и оно проявлялось в полной мере.

Что привлекает нас сегодня в кино? Лишь одно: изучение человека, его достоинства, гордости, слабости его и недостатков, то есть изучение характера, открывающее причастность времени, народу и поколению.

Здесь все мы, актеры, снимавшиеся в фильме, и авторы этого фильма, были едины. Но вот ведь завыка: сами-то способы выразить все это, художественные средства для изучения сути, изучения самого человека виделись нам столь разяще противоположно, что мы не могли не спорить; и мы спорили.

Стороны определились. Калатозов, Урусевский и второй режиссер Бела Мироновна Фридман – с одной стороны, Урбанский и я – с другой. Вася Ливанов остался нейтрален – это был его первый фильм, и Васю можно понять.

Таня Самойлова активно в творческом споре не участвовала, а когда приходила на съемки, то сидела где-нибудь в сторонке и тихо наблюдала за нашей перебранкой. Нервы ее были, очевидно, не столь напряжены, как наши (из четырех персонажей фильма только у нее был дублер – местная девушка), и она имела право этого созерцания. Но однажды, в перерыве между дублями, в то время, когда на лес выливали сотни килограммов горячего, а мы, пользуясь минутой, старались доказать правоту своих позиций, она вдруг решила напомнить нам о нашем забытом долге перед режиссером, несколько истерично заявив:

– Как вам (это мне и Урбанскому) не стыдно: вместо благодарности режиссеру за то, что взял нас, выбрал из числа многих и снимает, вы, забыв об этом, несете какую-то околесицу – «все не так, все не то и не туда вообще»!

Мы так и сидели с открытыми ртами, обалдев от сознания той легкости, с которой могли бы решиться все споры и проблемы. Оказалось, нужно быть лишь благодарным – и все остальное плавно уляжется само собой. Мы и не подозревали за Таней столь глубокого знания производства, анализа взаимоотношений людей и столь высоких морально-этических приверженностей и теперь во все глаза смотрели на нее, благодарствуя, что напомнила о нашей черной, нет, я бы даже сказал – наичернейшей (это отчетливо слышалось в несколько повышенном тоне актрисы) неблагодарности. Мы были пристыжены до крайности, рты оставались открыты. Может, мы так и окаменели бы с лицами, полными невысказанной признательности, недоумения, неловкости и стыда, но Женя вдруг закрыл рот и почему-то легко и четко сказал:

– Ага... Понятно!

Загадки зрели одна за другой, в глазах запрыгали черти; я перевел дух и тоже закрыл рот. Мне тоже стало понятно. Но не очень. А если честно, то стало совсем непонятно.

По всему чувствовалось, что продолжение следует, но какое – никто не знал. И оттого лица вытягивались, глаза становились доверчивыми, все смотрели друг на друга и были какими-то благодетными. Стало тихо, тепло и уютно, как на вулкане. Режиссер посмотрел на Таню и перевел взгляд себе на ноги.

– Таня, – очень-очень миролюбиво начал Женя; никто не знал за ним столь осторожного голоса, – однажды Константин Сергеевич Станиславский своим ученикам задал этюд: «Горит ваш банк. Действуйте!!!» Кто-то побежал за водой, кто-то стал рвать на себе волосы и заламывать руки, кто-то тащил воображаемую лестницу и по ней судорожно пытался проникнуть сквозь огонь на второй этаж, кто-то падал обугленный, обезумевший от страшной боли и страданий. Все было так, будто горел банк. И лишь один Василий Иванович Качалов, который тоже должен был принимать участие в этюде разбушевавшегося пожара банка, спокойно сидел нога на ногу, переводя взгляд с одного на другого. «Стоп! Василий Иванович, – окликнул его недовольный Станиславский, – почему вы не участвуете?» – «Я участвую, – невозмутимо ответил Качалов. – Мои деньги в другом банке».

Не знаю, что было там – давно, где проходил тот этюд, но у нас на съемочной площадке поднялся хохот. Смеялись все: было хорошо, просто и свободно.

– Мне кажется, Таня, что твои деньги тоже в другом банке. А наши здесь, в этом. И он горит. Не думаю, чтоб Михаил Константинович и Сергей Палыч столь упрощенно нуждались в сюсюкающей благодарности, в отсутствии которой ты так правильно, а главное

вовремя упрекнула нас... Но каждый день сгорает тридцать-сорок метров, полезных метров нашего банка, и только потому мы забываем сказать режиссеру наше тихое русское «мерси»...

Послышались голоса пиротехников о готовности участка леса к пожару, мы взвалили на себя рюкзаки, под тяжестью которых подкашивались ноги, повязали мокрые полотенца вокруг шей (так легче переносить семидесятиградусную жару в пылающем лесу) и ушли в огонь.

...Семья людей, ваш локоть, ощущение идущего рядом – в лазурь, в гору, по буеракам. Если и оглянусь назад, то лишь затем, чтобы увереннее идти вперед...

Первым со съемок «Неотправленного письма», спеша на гастроли своего театра, уезжал Женя; его герой, по сюжету, умирал раньше других.



Восемнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт

Почему-то – или рано смеркалось, или он поздно уезжал – было очень темно. Его бас перекидывался во мраке от одной группы к другой. Становилось грустно и завидно. Грустно оттого, что уезжал он, завидно оттого, что не уезжали мы, каждый из нас.

Он уезжал.

Коллектив провожал своего любимца, своего «акына». Может, поэтому было так памятно темно, двигались, как тени, с какими-то факирскими, загадочными рожами, пиротехники и декораторы, наши добрые друзья и заводилы. Они что-то замыслили. Через малое время Женя вскочил на подножку затарахтевшего грузовика – и темноту разорвало ослепительное созвездие ракет. Не дав догореть одним, темноту неба вспарывали другие. Наверное, было договорено: патронов не жалеть, холостыми не стрелять. Нестройное, но достаточно дружное «ура!», всплески вскинутых рук и – улыбающееся, счастливое, со слезами лицо Женьки. Выхваченный светом ракет, стоявший на подножке, он был какой-то светлой громадой, уходящей в темноту. После фейерверка наступила тьма. Мы стояли притихшие, не двигались, чтобы не натолкнуться друг на друга. Послышалось раздосадованное: «Сейчас, ах ты, надо ж!» – и, извиняясь, одиноко взлетело запоздавшее светило, озарив осиротевшую кучку людей. Грузовика и Женьки не было. Со стороны перевала до нас долетело:

– Спаси-и-ибо!..

И только красный стоп-сигнал доверительно посылал приветы всем вообще и никому в частности.

Уехал. Стали расходиться. Уехал...

К счастью, живем мы не под стеклянным колпаком. Живем в среде таких же, как мы сами. Стараемся воспитать в себе то, что привлекает в других, так же, как они, возможно, чем-то пользуются нашим. По тому, что ты вбираешь и вобрал, можно судить, кто был рядом с тобой, кто знаменовал твой мир, с кем ты делил горе и кто тебе поведал о своем счастье, о котором русский человек не кричит – тут он так же целомудрен, как и в беде.

В последний раз мы виделись на «Мосфильме». Он сидел в автобусе. Группа готовилась ехать на натурную съемку. Кого-то ждали, никто не высказывал недовольства – на студиях это стало нормой. Увидев меня, он вышел.

Раньше я довольно часто замечал, что он смотрел на меня как-то изучающе. Сначала это раздражало, корбило, а потом не то я привык, не то он прекратил эти смотрины, а может, смотрел, но не столь явно. И теперь вдруг он опять глубоко и тихо вглядывался в меня. Мы давно не видались, и не хотелось огорчать его замечанием.

– Ты давно в Москве? – спросил он.

– Да вот, поди, уж неделю безвыездно.

– Не даешь о себе знать... Хорош!

– Закрутился... Пока не очень идет, не могу набрести на нужное, в мыслях и заботах уходит все время.

– Походка эта – твоего нового героя, что ли?

– Да... даже не заметил...

– Все прикидываешься! С тобой хочет познакомиться наш актер Закариадзе.

Из машины вышел пожилой, совсем седой мужчина; я не видел фильма «Отец солдата», но слышал о вдохновенной работе Закариадзе и сказал ему об этом.

Женя по-доброму раскатисто засмеялся.

– Я говорил вам, он тюкнутый. Это Закариадзе, да другой. То его брат.

Немного посмеялись неловкости минуты.

– Как твои? Соломка? – сказал он потом.

– Хороши. Филипп очень вытянулся, похож на пшеничный колосок – весь желтый и длинный. Не хочет учиться музыке, никакого уважения ко мне. Машка – прелесть! Глядя на меня, говорит что-то вроде «ге», а что она хочет сказать, не совсем понимаю, думаю –

лучшее. Соломка очень не хотела, чтобы я снимался здесь, наверное, устала ждать. Что у вас? Как Дзидра? Кого ждете?

– Я парня, а Дзидра – она говорит, что ей все равно, лишь бы все прошло благополучно. По-прежнему он смотрел в упор.

– Ты извини меня, дорогой, но если будет мальчишка, он будет Кешкой. Девчонку жена назовет.

Помню: в висках застучало до испарины.

– Ох ты!.. Спасибо, я рад...

– Ты тут ни при чем! Это мы в честь папы римского Иннокентия.

– Будет тебе!..

Договорились о встрече. Я пошел, оглянулся – он так же тихо смотрел на меня. Я приветно махнул рукой. Никакого впечатления. Словно не ему. Долгий, глубокий, ничего не высказывающий, какой-то замкнутый взгляд, как бы не на меня.

Я развернулся совсем и спросил глазами:

«Что-нибудь случилось?»

И только на это опять молчаливое:

– Нет-нет, ничего, все в порядке. Будь здоров.

Я ушел к себе в группу «Берегись автомобиля». «Берегись автомобиля», «Берегись автомобиля» – почему именно такое название: «Берегись автомобиля»?

Теперь я часто думаю, почему он молчал. Почему он так смотрел? Это не было предчувствием, нет. Последнее время он был недоволен собой, своими работами, какой-то он был тихий...

Я не вижу лица. Передо мной тщательно причесанный, но все же взъерошенный затылок мальчика. Неестественно красные оттопыренные уши. Ловлю себя на неуместной мысли: где-то я уже видел такие вот уши вразлет. Кажется, сама природа позаботилась, чтобы они улавливали и задерживали в мире звуков самые прекрасные, повелевая его еще пухлым ручонкам заставить этот зал насторожиться, замереть и уйти в сказку, когда-то созданную Бахом.

Это идет экзамен в музыкальной школе.

Вот здесь же, несколько впереди, – преподаватель класса Лидия Евгеньевна. Если бы я даже не слышал мальчика, а видел одни руки этой немолодой одинокой женщины, я, кажется, мог бы напеть мелодию. Никогда еще не видел столь звучащих рук.

Мальчика сменила девочка. Неловкая пауза, успокаивающие реплики – неверный аккорд. И опять пауза. «Вот сейчас я вспомню с восьмой ноты, и тогда...» И она вспомнила. И была так поэтична и так нежна, что, может, именно первое самозабвение родило эту неуловимую гармоническую несделанность минуты. Но мать ее, конечно, была недовольна, бранила ее, и девочка в растерянности плакала...

Мы ехали с Лидией Евгеньевной вместе. Она сидела откинувшись, усталая, мудро успокоившаяся. На коленях у нее лежал сноп цветов, а руки, обычные руки, безвольно лежали на цветах, не замечая их. И всю дорогу этого одинокого человека занимали ее мальчики и девочки – ее дети. Я подумал: «Когда так много души отдано детям, не может не воздаться сторицей. Посев должен дать всходы, это добрый посев».

Каждый из нас не избежал в свое время вопроса: «Кем ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?» Словно в неосознанную отместку за бестактность некогда поставленных вопросов мы теперь с высоты завоеванного безмятежно бросаем младшим:

– А кем ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?

И это в то время, когда столько путей и столько дорог. И они не вымощены и совсем уж не прямы. У взрослых голова кругом идет. Впрочем, спросить всегда легче, чем заметить, а заметив – подсказать, помочь.

Корреспондент газеты был краток. После двух-трех деловых фраз, помолчав, он сказал в телефонную трубку:

– Как жаль, что не будет вашего Каренина.

Ударило слово «ваш».

– Почему же?

– Мне думается... Вы бы нашли... Вы бы подошли...

Я ждал. Он, видимо, хотел выразить суть своей мысли короче и оттого так долго тянул. Наконец он нашел и заговорил просто:

– С позиций объективных, нераскрытых, вы поспорили бы с хрестоматийной привычкой считать Каренина человеком дурным, машиной того времени, а не героем, который мог бы служить примером каких-то человеческих качеств, недостающих, может быть, многим и сейчас...

Разговор не ладился. Настал мой черед молчать. Он высказывал то, о чем думал я, те же мысли, которые приходили и мне. Человек на том конце провода как-то угадал их. Выходит, я шел по пути наименьшего сопротивления? (Временные обстоятельства не позволили делом доказать правоту моих позиций, но зато разрешили быть более свободным в суждениях).

После «Гамлета» я получил почти двенадцать тысяч писем. Из них, пожалуй, в трех-четыре тысячи пишут: «Как Вы точно сыграли Гамлета, я таким его себе и представлял (представляла)». Первое время я думал: «Что же это такое? Так просто? Так легко? Это издевательство, что ли? А четыре месяца мучительных репетиций у меня дома с режиссером Розой Сиротой, которые помогли выявить существо моего Гамлета?»

Теперь я знаю, что всех этих людей, написавших взволнованные строки, повело за собой и объединило желание увидеть активно воплощенное, борющееся, побеждающее добро. Не зло, только добро – и сто раз добро! Труд и друзья помогли извлечь корни из моих неизвестных и объединить их в известной жизни шекспировской трагедии. Люди у станков, за чертежными досками, за рулем, возвращающие хлеб и покоряющие просторы вселенной, – все они жаждут знать свое время, его веяния, его суть. Потому-то и стал так близок многим людям Евгений Урбанский – он обладал удивительным дарованием объединять, быть своим всюду. Герой нашего времени...

Да, так о Каренине.

Надо признать: Алексей Александрович Каренин поставлен не в те самые выгодные и блестящие положения, где можно так славно показать всю красоту и благородство души. К тому же Анна однажды, не без основания, обнаружила, что у него большие уши, да еще и торчат. Читателя, который с первых же страниц романа примет сторону Анны, не любящего к тому же, когда хрустят пальцами, явно не устроят и анкетные данные. В самом деле: служба в царской канцелярии, орден Александра Невского, парадные лестницы, роскошный особняк и слуги. Плохой человек. Отрицательный персонаж.



Сауджен из пьесы А. Токаева «Женихи». Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, 1949 год



Норильск, 1949 год

Несколько жанрово, но довольно близко к тому, с чем я собирался поспорить. Да возьмите лишь одно: разве может истинная женщина оставить, бросить своих детей ради любимого или ради тщеславия – все равно?

Человек, нашедший в себе силы понять, нашедший силы задушить свою гордыню, ревность, простить, простить совершенно и, полюбив так страстно, как не мог полюбить Вронский, не сказать ни слова упрека не только ей, но и ему.

Человек, который, верой и правдой служа отчизне, в условиях самодержавия поднял голову в защиту нацменьшинств и в меру возможностей их отстаивал. Человек, который, в конце концов, едва ли не осознанно идет на крушение карьеры из-за того, что позволяет себе – непозволительное (недозволенное) – ну, в пылу полемики я, пожалуй, могу сделать его революционером. Правда, это уже другая крайность...

Станьте на более выгодную позицию Анны и преподайте мне ее мироощущение в сложившейся ситуации – вот тогда я смогу в полной мере быть ответственным адвокатом своего подзащитного, который, право же, имел более опытного и мудрого поверенного – Льва Николаевича Толстого. Я приходил к этим мыслям рабочим порядком, все глубже и отчетливее понимая, почему он начал с нее. Даже по той же самой хрестоматии, в условиях тогдашней России, она была более закреплена, и Толстой не мог не стать на защиту ее, не начать с нее. Женщина дает нам жизнь, растит наших детей, оберегает их, олицетворяет мир, любовь, родной дом...

Не любить и любить – состояния диаметрально противоположные. Не любят – и даже достоинства человека видятся его недостатками. Для меня очевидно: он – хороший человек, едва ли не всеобъемлющий, большой государственный муж с прогрессивными взглядами. Как можно поставить его в разряд желчных и недалеких? Он выше окружающих. Не каждому на роду написано быть открыто мягким и добрым. Есть натуры скрытные, но не менее благородные. Мне кажется, Толстой показывает, как человек даже в самых наихудших обстоятельствах может быть богом и должен быть им. Только тогда он человек. Правда, он и жесток, но и всепрощающ до самозабвения. Много ль из того, что на глупой голове красивые уши? Да, у него уши торчат вразлет. Но если бы все были на одно лицо и у всех были бы одинаковые уши, то еще, чего доброго, Анна, увидев у Каренина уши ничуть не хуже, чем у Вронского, да и у нее самой, просто не ушла бы, и вообще неизвестно, написал ли бы тогда Лев Николаевич Толстой свой роман. Эва до чего можно дойти-то. А все они, уши!

Иногда люди бегут как раз от того, что ищут. Ищут же обычно то, что любят, чего недостает. По этому недостающему мы и узнаем суть самого ищущего. Люди мелкие ищут комфорта, любой популярности, денег, люди крупные – самих себя. Нередки случаи, когда приходишь просветленным и очищенным к тому, что когда-то так безрассудно бросил. Время, время...

Я думаю об Александре Николаевиче Вертинском – человеке, исколесившем полсвета. Право же, для нас гораздо более важно, что он долго искал и нашел наконец путь на Родину, чем то, в чем когда-то заблуждался. Как это у него: «Много русского солнца и света будет в жизни дочурок моих. И что самое главное – это то, что Родина будет у них». Не-е-ет, он был не просто «солист Мосэстрады» – и это прекрасно знают даже те, кто не разделяет моего обожания. Впрочем, я их понимаю: у него ведь тоже были «каренинские уши». Если бы он мог участвовать в конкурсе на роль Каренина, то прошел бы вне конкурса. И я убежден, что не внешнее решило бы такой исход выбора.

Он заставлял нас заново почувствовать красоту и величие русской речи, русского романса, русского духа. Преподавать такое мог лишь человек, самозабвенно любящий. Сквозь

мытарства и мишуру успеха на чужбине он свято пронес трепетность к своему Отечеству, душой и телом был с ним в годы военных испытаний. Он пел о Родине. Его песни нужны и сейчас. Его деятельность – поэта, актера, музыканта и гражданина – просится на экран, в документальный фильм «Александр Вертинский». Уж не говоря о том, что надо не знать, не любить язык наш, чтобы еще раз не пройтись по красотам и певучести его в исполнении этого большого художника. Наконец, нужно быть абсолютно бесхозяйственным, чтобы не сделать ни того ни другого. Время показало, что это наша забытая гордость.

Юбилей. Полвека. Я ждал его как праздника, как улыбки, как отдыха после длинной дороги, но в какие-то дни и забывал о нем за будничностью дел, забот, тревог. Юбилей, юбилей... Подстригали газоны, на балконах разбивали целые оранжереи, словно желая сохранить все это зеленое великолепие до ноября. Был случай, в магазине мне сказали: «Спасибо, приходите еще...» Служба безопасности городского движения разлиновала все мостовые под зебру, словно до этого автомобилистам разрешалось давить пешеходов, а теперь уж хватит! В театре приготовили хорошие, юбилейные спектакли, словно раньше можно было показывать плохие. Это естественно. Праздник ведь не будни. И огорчительно, что ты запросто говоришь другу по будням то, чего не скажешь в день рождения. Юбилей, юбилей... Веха зрелости, роста, новых пределов. Я волнуюсь и встречаю его, как и все мы... Вспоминую: «Скажите, мастер, когда вы пишете свои картины, о чем вы думаете?» – «Я не думаю. Я волнуюсь...»

Никогда еще не было столь взволнованного времени, как теперь. Заставляют думать и участвовать в наших волнениях даже машины. Добрый, милый, но усталый трамвай уступает место самолетам – ракетам, соединяющим континенты. Ухарскую ямщицкую тройку сейчас показывают уже как достопримечательность взволнованного старого. Над кроватью моего сына висит фотография поверхности Луны, вырезанная из журнала. Дети почему-то все больше рисуют ракеты, неведомые, вздыбленные миры, и мы уже научились оттуда смотреть на нашу маленькую Землю. Земля отливает голубой позолотой, и от нее исходит такой покой, такая тишина, что хочется поскорее вернуться к себе домой, на Землю, и верить, что она не может быть иной. Если дети рисуют Землю мирной и доброй, манящей и ждущей, мы не вправе обмануть их надежд.

Так что, бишь, я хотел спросить-то тебя? Ах, да...

Кем же ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?

Мы не были бы зачарованными современниками искусства Майи Плисецкой, если бы она долго думала, что ответить на этот вопрос. Наверное, она волновалась, и ее вело то увлечение, которому она отдавала время и свои хрупкие девичьи силы в школьном возрасте. Нам повезло, что ею это угадано. А может быть, кто-то, заметив ее неосознанное увлечение, не задавая ненужных вопросов, по-человечески и вовремя потревожился, позаботясь о ней?

...Он шел по пыльной дороге сорок первого года. Огромный и рыжий, смущенный, что ему поминутно приходилось менять ногу в строю. Человек, портрет которого я носил в медальоне Гамлета. Мой отец – Михаил Петрович Смоктунович. Человек добрых шалостей и игры, человек залихватского характера, ухарства и лихачества. Он вскормил меня, и тогда я провожал его в последний раз по кричащей, взволнованной дороге к эшелону, уходившему на фронт.

Мне не нужно было искать его в строю. Два метра удивительно сложенных мускулов, рыжая, по-мужски красивая голова виделись сразу. Я со страхом подумал: «Какая большая и неукротимая мишень!» Я бежал, меня трясло. Очевидно, почувствовав, он поймал меня взглядом и отрывисто бросил:

– Ты что?

– Ничего...

В горле пересохло. Он, изучающе помолчав, крикнул:

– Ты смотри!..

Он ушел, мой президент.

И я смотрю.

Я помню. Я смотрю...

Волнуется педагог музыки, в коридоре замер отец мальчика – того, который играет сейчас. Перед нами совершенно очевидное дарование, угаданное и уже направленное по нужному руслу. Мальчику четырнадцать лет. Что это такое? Откуда? И отвечаешь: мальчик, наверное, волнуется, потому что его увлечение легко растворяется в аккордах музыки. Он этого еще не осознает. У него лишь краснеют уши. И пусть краснеют. И пусть до поры не осознает. Пусть смело идет по дороге, куда послал его отец – морской капитан третьего ранга в отставке, который, может быть, идя в бой, волновался не так, как сейчас, посылая сына на этот экзамен. Стоит побледневший, подсознательно ощущающий ответственность момента мой Филипп. Потом шумно аплодирует мальчику, радуясь успеху своего друга и не так активно – девочке, которая играла удивительно проникновенно. Сын в таком возрасте, когда на девчонок смотрят свысока. Со временем это уйдет, уступив место гармонии – прекрасному зову природы – любви и нежности. Как бы хотелось, чтобы в добром мире земных тревог и забот не было места диссонансам. А пока пусть доверчиво идет сын по дороге неизведанного, по пути надежд, добрых юбилеев, свершений и всего светлого, что могут породить желания человека нашего времени, человека Руси.

Я буду смотреть. Буду помнить...

1967 г.



Бионделло. «Укрощение строптивой». Сталинградский театр им. Горького, 1953 год

Завершая год

Один из прошедших декаблей, по-доброму завершая свой год, всеми событиями, делами и встречами, как бы говорил: «Дети, ну что вы суетитесь, мечетесь как неприкаянные? Это же не последний ваш декабрь, будут еще и март, и май – все еще впереди, все еще будет».

И для тех, кто был близок с тем декаблем, понимал его, – им было много легче забыть невзгоды уходящего года и не очень-то обольщаться простотой грядущего. Завершался большой год, и завершался достойно. И одно это в атмосфере предновогодней жизни вселяло покой и освобожденность от бремени чрезмерно громких надежд. Чего же загадывать, зачем скучно предрешать в сусальных новогодних пожеланиях дела, мысли и чувства – ведь все же будет, все впереди.

Было просто. Совсем не загадывалось ничего, не думалось о близком завтра, и поэтому бессмертие, должно быть, о котором ну напрочь не вспоминалось, было рядом, под боком, и при желании его, наверное, можно было бы потрогать, прикоснуться руками, не подозревая, однако, значимости минуты и того, к чему ты только что мог быть причастен. И уж совсем не ведая, что и сам ты становишься частичкой бытия вечного, непреходящего. Дело только за догадливостью, за сообразительностью. Но каждый уже однажды был запущен и проносился по своей крошечной орбите сутолоки и забот дня; не то очередь приобщиться к этой редкой возможности была бы куда большей, чем на выставку Тутанхамона или на мимолетное свидание с Моной Лизой, привезенной в Москву на две недели из Парижа.

Это уходил год, в который американцы вступили на поверхность Луны. Шаг был дерзким. Мир прильнул к телевизорам. Земля была возбуждена, у нее появилась соперница, принявшая землян.

Сев в ракету, трое полетели на Луну; оставшиеся же на Земле желали жизни им, здоровья там, в мертвом мире, лишенном даже сквозняков, и ждали их обратно.

Первый гордый полет Юрия Гагарина всегда и всеми воспринимался не только как подвиг советского народа, но и как общечеловеческий подвиг. Не было газет и журналов в мире без его портрета, где бы не сияла его улыбка. Он был «наш», простой, российский, скромный. Но событие было столь огромно, что его никак не вмещали никакие территориальные, ни социальные границы даже такой сверхкрупной державы, как Россия.

И вот теперь мне подумалось: на каком бы языке они, эти трое, ни говорили, им знакомы, понятны и близки слова: люблю, мир, дети, земля, мать, завтра, хлеб, весна, черемуха.

Не имея своего телевизора, я впился в него у друзей на соседней даче. Изображение хоть и не четкое, но захватывающее – это точно. Люди – на Луне! Взволнованный, бежал домой, делая большие прыжки, медленно, как бы зависая в незначительном притяжении Луны. Мою несколько необычную манеру двигаться по дачным дорожкам в тот день никто не принял ни за сумасбродство, ни за сумасшествие, хотя невольных свидетелей этого аттракциона было немало.

Время – бесстрастный блюститель лишь циклов, ритмов, как показалось, удовлетворенно отмечавшее, что дети этого его периода совсем недурны, и поэтому, может быть, их не следует баловать, впрочем, как и предыдущих, – продолжало свой мерный путь, жонглируя мирами в бескрайности Вселенной.

Лето того года подарило мне несколько свободных от съемок дней. Не знаю я, что такое королевский подарок, никогда его не видел, хотя и бывал на ленче у принцессы Маргарет – родной сестры английской королевы, – быть может, то, что я был приглашен, и есть королевский подарок? Очень может быть. Но те дни, что удалось мне побывать на юге, – поистине подарок королевский, иначе не могу о них сказать. И, получив эту возможность, почув-

ствовал, как колыхнулась, заворочалась дремавшая, должно быть, до того охота – жажда к паразитическому существованию. И с воплем «к морю, фруктам, солнцу и...» я полетел к отдыхающей на юге семье. Мне удалось достать путевки в Дом творчества литераторов.

Море! Наша Машка, перед тем как полететь на юг, вдруг соотнесла себя в пространстве: «У моря, наверное, я буду совсем маленькая?» Ей тогда было четыре с половиной года. Как она удивительно права! У моря все мы дети. Вернее, все мы, взрослые, становимся детьми. Вдруг появляется желание играть, барахтаться в воде – кто дальше заплывет, кто нырнет глубже, достанешь ли со дна ракушки и, наглотавшись солено-йодистой воды до глухоты, позаложив ушные перепонки, забыв о мудрости веков «труд создал человека», будешь прыгать на одной ноге, как девочка, играющая в «классы», чтобы вернуть, восстановить связь, прерванную с миром, и вылить из ушей морскую воду, согретую твоим теплом.

Вспоминаю более сложное время – война, наша часть после форсирования Вислы в районе Непорента (помню точно лишь название, а что это – лес, селение или просто местность – не знаю) прошла маршем многие десятки километров на северо-запад, затем круто повернула на восток, и командиры сказали, что через шесть-восемь дней, если мы будем двигаться все так же, как сейчас, мы увидим море. В это время, идя быстрым маршем, мы пленили многих – или пленяли, в общем брали в плен, пожалуй, так будет вернее, – немцев, каждый из которых серьезно и с тоской говорил: «Алес капут», «Гитлер капут», «Их бин коммунист, камраден». Все мы жили одним: близким концом войны, а теперь еще прибавилось какое-то праздничное и волшебное ощущение скорой встречи с морем. Это был март сорок пятого года. Два года чудовищной, изнурительной, изматывающей фронтовой жизни не смогли убить невероятного желания жить, радости весны, близкой победы... Должно быть, организм втянулся и привык, найдя вполне возможным жить и развиваться в окопах, в боях, в походах, сжиматься несколько, из окружения выходя, и радоваться любой минуте отдыха, и, спать ложась в окоп, благодарить судьбу за трудный день, что завершился жизнью и доброй темной ночью.

Какое счастье – мы побеждаем зло, фашизм. Мы будем жить. Мы дали людям жизнь. И мы спасли весь мир. Мы будем жить. Свободны будем мы. И так будет всегда. А там, за сопками, за тем горизонтом, будет море. Как выглядит оно? Всегдашняя загадка – почему оно так тянет к себе? Может быть, родившиеся у моря и живущие возле не испытывают этой власти. Тогда немало прекрасного никогда не изведает их сердца, и это горько. Но, думается, этот великий кудесник не мог обнести щедростью своих береговых домочадцев и посвящает их во что-то такое, чему трудно подыскать определение, что можно познать лишь с годами, с детства босоногого, и в существование чего мы, таежные, глубинно континентальные поселенцы, и поверить-то не могли бы.

До той поры я никогда не видел моря. Что это – просто много-много воды? И говорят, что берегов не видно никаких. Ну, это уж хватило – берегов не видно! Ври, но так-то уж зачем – они должны быть. А знаешь ли, что и вода соленая, и пить ее нельзя, и штормы баллов в восемь ломают любой вал и мол? Зимой оно не замерзает и способно прокормить всех живущих на берегу. А говоришь, что берегов не видно. Так кто и где же там живет? Кого кормить-то?

...Дальний наш переход к морю перемежался рытьем окопов, в которых занимали круговую оборону. Мы то уходили в лес, чтобы переждать короткую тревожную команду «воздух!», и через некоторое время над головами, прерывисто гудя, появлялась «рама», как в микроскоп рассматривая нас, то рассыпались кто куда мог – в любую щель, канаву – при страшных артралетах. Говорили, что это дело рук какой-то Большой Бертты, которая до удивления легко и просто в какую-то минуту-полторы превращала огромные массивы в кратеры воронок и в терриконы грубо вынутой разрывами земли. Из одной такой воронки в другую,

по мере продвижения вперед, пришлось переползать и скатываться вниз и вновь карабкаться наверх. Смешного было мало. Осталось там много наших парней.

Так, помню, встретило нас море. С фашистских кораблей, стоявших в бухте, между городами Сопотом и Хилем, в нас швыряли «тракторами» – так говорили наши доморощенные остряки. Само же море увидели мы к исходу следующего дня. Кто-то закричал: «Смотрите, море!» Сквозь строй редких сосен и других каких-то великанов, изогнутых и искореженных, должно быть ветром с моря, просматривалось небо. Всюду было небо. Красиво, но и непривычно, словно ненароком набрали на край земли. И даже страшно почему-то стало. Где же море? Да вот же, перед тобой! Опять смотрю и ничего... замираю – смыв стык горизонта в одну голубизну с вечерним небосклоном, спокойно, величаво простиралось море, как зеркало огромное, положенное так, чтобы небо смотрелось лишь в него. Сколь можно глазом охватить, действительно и берегов не видно. Где ж тот парень – он был прав. Ах, да. Он никогда уж спорить и острить не будет. Он остался там. Тишина. Как будто не было той ужасной ночи и все мы вместе здесь пред жизнью вечною стоим – и никаких вопросов, все понятно; как в рот воды набрали; никто ни слова. Слишком уж разными вдруг показались война и мир. Нет, в войне не стоит жить, хоть ты и выжил, выстоял. Но то была не жизнь, а лишь борьба со смертью, злом, чтоб жизни быть достойным в мире, у моря, которому тихо прошептали: «Здравствуй».

Кто-то, вытянув руку, тихо указал: «Смотрите, в море огоньки и вспышки». Через какие-то мгновения мир кончился, и со сварливым воем, мгновенно и зловеще нарастая, взрывами вокруг вернулась война.



Перед женитьбой



Будущее жилье на чердаке. Посланников переулок, 7



Потом, лишь через поход, Берлин и многое другое, был мир. Сначала он был пестрым очень. Полотен белых пятна отовсюду, тряпиц на головах и даже в челках лошадей, везущих домашний скarb, и простыни из каждого окна свисали белыми большими языками. Девчонки малые – так их пропаганда рейха напугала нами, что каждая из них махала белой тряпочкой, смотря на нас от страха огромными глазами, ожидая, когда же будут те, с рогами и хвостами.

Пестрый мир! Сколь долгим, непростым был путь к нему от Волги, и только так он мог быть завершен, иначе справедливостью не стала б справедливость. Мы победили, потому что не победить мы не могли. Другого выхода мы просто не имели.

Так вернемся к морю.

Полон пляж народу. Смех, гомон, девчонок писк. Прибрежная полоса моря кипит, кишит от брызг. Насколько глаз хватает, направо и налево, кругом тела, фигуры, статность, здесь, быть может, излишнее брюшко, там тучность, здесь шоколад загара поражает, там белизна и бледность, нетронутая солнцем, под зонтиком ютится. Молодежь, бросающая мяч, преклонный возраст, под тент забравшись, в преферанс играет – забот приятных «полные карманы» у люда обнаженного на пляже. Где отыскать своих среди этого нагромождения тел, загаров, заклеенных носов, панам, купальных шапочек, зонтов, махровых полотенец, защитных очков и бесконечного движения, суеты, где очень важно все и ничего не значит уж следующий миг. На первозданном лежбище котиков, должно быть, легче вновь отыскать запрятавшегося среди камней и родичей намеченный заранее экземпляр.

– Они ушли на пляж со всеми вместе. Может, надо что-то передать? Кто вы?

– Я их отец и муж.

– Вы... Смоктуновский, что ли?

– Да, это я. А что – не надо?

– Да нет! В кино вы помоложе и не похожи вовсе. Вот только голос, пожалуй, ваш, а больше ничего.

– Ну что же делать, каков уж есть, не обессудьте.

– Что?

– Уж не взыщите, – говорю, – за то, что изменился и не таким предстал, как вы бы хотели видеть.

– А-а-а... Да ничего. Не вы же виноваты, что здесь один, а там – совсем другой.

– Не виноват, не виноват, ни в чем не виноват, – бурчал я, соображая, что же делать.

– Ну вот... И там в кино добрее много вы, а здесь, не зная что к чему, за дураков всех держите, наверное. «Не виноват», «не виноват» – никто вас не винит, заладил... Сказать хотела похвалу, но не скажу. Какой, однако же.

– Вы не совсем...

– Да что там говорить... На пляж они ушли. Все в добреньких играют... Детей поглаживать норовят и приласкать собаку или кошке за ухом почесать – все это «позитура», одна лишь «позитура», чтоб только кто-то видел, а потом сказал: смотрите, какой простой он, и добрый, с кошкой играет, и за ухом ей чешет. За ухом мы все горазды почесать. Вы делом, вы жизнью докажите.

Совсем не ожидал, что обернется таким разрывом. Такая въедливая попалась старушонка. Мне не хотелось говорить – немного подустал, после самолета шум в ушах, несколько тошнит. Она же засекла, должно быть, нежелание это, переведя все на себя. И, уходя, я долго еще слышал голос человека, восставшего и против лжи, и зла, и, как она сказала, «позитуры»... Нашла же слово! Нечего сказать...

Пошел на пляж. Вертолет то пронесся над пляжем, то зависал над местом каким-нибудь и опять удалялся – служба безопасности купания вносила излишний шум в уютную людскую кутерьму, но пляжный люд к нему привык, не обращал внимания – летает, ну и пусть себе летает, а завис – пусть повисит; поднадоест – и улетит опять. Я был опознан сразу. «Филипп, Мария, смотрите – папа!» – «Где?» – «Да вон, у лестницы, в начале. Видите, рукой машет?» И вместо того, чтобы ко мне бежать навстречу, Филипп присел на камни, выставив лопатки, Мария также подошла к нему, присела, спина к спине, и они молча воззрились на меня, высказывая интерес, но вместе с тем и скрытость, что ли, чтоб не привлекать внимания к нам и ко мне.

Прекрасные минуты: бодрит прохлада моря, дышать легко, с Машкой на руках и в воду – отдых, такая благодать!

Что может быть прекрасней моря после долгих надоевших съемок, где давно смирились, что порох выдуман и звезд не ухватить – они идут, и фильм снимают, ну, в общем, так же, как могли бы и не снимать. Итог давно запрограммирован, он – скучная ненужная середина, чтоб серостью ее не обозвать...

Так, теперь конец года. Декабрь.

Обычное, стереотипное, прескучное предновогоднее интервью.

– Расскажите, пожалуйста, чем для вас был знаменателен этот уходящий год, какое событие вы считаете самым ярким, важным для вас, запомнившимся вам надолго?

– Самым ярким, запомнившимся?... Летом мне удалось быть на юге, и я с дочкой входил в воду. Кругом было так тихо, безлюдно. Море – и мы с ней. Она еще совсем крошечка и не умела плавать, боялась и хотела. Я держал ее за ручку, потом приподнял на руки, и она ножками колотила меня, было больно и вместе с тем было здорово. Вот, должно быть, это...

– Вы серьезно говорите это?

– А почему бы нет? Вполне. И даже более чем.

– Вы считаете самым важным событием...

– Да... Вы так спрашиваете, что я даже несколько испуган. Постойте, дайте подумать, быть может, я что-нибудь и упустил или перепутал. Мне не хотелось бы быть белой вороной – наверное, вы не одному лишь мне вопрос подобный задавали?

– Да, конечно.

– Ну, интересно, и что же отвечали?

– Прежде мне хотелось бы услышать, что вы ответите. Что важного случилось именно у вас?

– Понимаю, одну минутку. События... Год... Да, конечно, только это и больше – ничего. Извините, я прав: другого, большего события не знаю.

И корреспондент ушел. Каким-то скисшим, погасшим настолько, что его было почему-то жалко и хотелось наговорить ему с три короба всякой ерунды, каких-нибудь «банзай-уравиватов». Но, как ни старался вспомнить более значимого события, которое бы оставило след во мне и как-то повлияло на ход дальнейшего, кроме той минуты – минуты удивления, счастья, самозабвения, солнца, жизни – не было события важнее. Но странно, когда уходил корреспондент, мне показалось, что ему было жаль меня. Никогда позже я не видел его, не встречал ни его, ни его столь бойкого интервью. Читал много подобных вопросов к Новому году и, может быть, много столь же бойких ответов. Но, читая эти ответы, вдруг очень четко осознал, чего он ждал от меня тогда, что так мучительно выпрашивал, чтоб я сказал, чтоб я отметил. На секунду, только на секунду мне стало неловко, что я забыл об этом, забыл, как вроде бы этого и не было, о том великом шаге человечества, когда ступили на Луну. А ведь это и было моим открытием огромного мира нашей жизни, полноты ее и цели, столь ощутимой и важной, необходимейшей, что лишь ради нее можно было и по-настоящему стоило драться у того безлюдного, мертвого, зловещего, несущего лишь смерть и разрушение побережья и моря. Мне кажется, и Армстронг, когда ступил ногой на лунную поверхность, он думал о Земле, о дочери и сыне, о всей Земле, о нас, о мире.

Три ступеньки вниз

Сын, будучи еще ребенком, часто столь глубоко сосредотачивался на каких-то своих мыслях, будоражащих его детское воображение, что вывести его из этой погруженности могло только прикосновение. Никакие звуковые сигналы не могли пробить броню его отгороженности от мира. Нас, родителей, это настораживало, и мы обратились к врачу. Диагноз был неожиданно обнадеживающим, и мы втайне не могли не испытывать гордости за свое дитя.

– Вашему Филиппу, должно быть, есть чем думать...

– Это у него наследственное... – на радостях неловко сострил я.

– Да, вы правы, ваша жена производит впечатление тонко думающего человека, так что передайте ей, пусть она успокоится. По поводу же его странного, как вы говорите, отсутствующего взгляда – здесь, я думаю, мы стоим у истоков формирования глубокой, интересной человеческой личности, которой уже теперь, я повторяюсь, есть во что погружаться. Он мыслит – он живет, это естественно.

Мы успокоились и даже в шутку такие моменты обретения ребенком возможности заглянуть в себя определили как «мысли, мысли пошли...»

Однажды Филипп так же самозабвенно «ушел в свою лабораторию», упершись взглядом в одну точку. Я несколько громче, чем позволяло таинство этой минуты, воскликнул:

– Во-во, мысли пошли, мысли...

Впервые услышав мой окрик, ребенок тоном маленького иллюзиониста, удачно закончившего свой фокус, пискнул: «Ушли!» – поясняя и то, что они были, и было их немало, во всяком случае не одна, а какое-то множество мыслей.



Соломка с Филиппом в коляске

Что-то очень похожее происходит теперь со мной, когда я, преисполненный рвения, мыслей и решимости воссоздать некоторые отрезки моей жизни на бумаге, подхожу к столу, беру чистый лист, ручку и...

«Ушли!»

Почему? Что пугает их? Мое неумение? Белизна листа? Но я не собираюсь чернить его ни графоманскими вывертами, ни потугами на нечто оригинальное и, уж конечно, ни претензией на писательский слог и стиль.

Ничего такого я делать не умею, действительно, не хочу, не могу и не буду. Я попытаюсь лишь записать то, что происходило со мной, только это ляжет строчками на белом пятне передо мной.

Ничего, что я буду говорить правду, а? И уж коль скоро я решил обращаться только к ней, то и начну с признания.

Я знаю, почему рой мыслей так поспешно улетучивается – причина во мне самом. Я хочу поведать о моих попытках поступить хоть в какой-нибудь московский театр в 1955 году, а даже самые облегченные воспоминания того времени вызывают теперь у меня самого сложную реакцию.

То хочется смеяться, хохотать и бить в ладоши над обилием нелепости происходившего тогда, и хохотать можно было бы довольно долго, смею предположить, что веселье это могло бы продолжаться до слез на глазах и колик в животе; то, напротив, – та неотвратимая безвыходность тогда даже теперь, по прошествии огромного отрезка времени, комком перехватывает горло, и светлая радость, что я вправе считать все осуществленное завоеванным и моим, наполняет все мое существо.

В период подготовки новой работы у артиста порой наступает кризисный момент, когда он не в ладах не только с ролью, пьесой, партнерами, собой, но больше всего с тем эгоистом, который прочно устроился в нем самом. И никакие разговоры, увещевания, обращенные к этому квартиранту, ни к чему доброму не приводят – они бесполезны. Меня довольно часто посещает этот товарищ. С каким бы распрекрасным режиссером ни работал в этот «час пик», едва ли не против своей воли обрушиваешь на него град неуважительных взглядов, мыслей, а порой и реплик, вспоминая которые через какое-то время буквально корчишься от стыда и раскаяния. А бедные родные – они герои-мученики. Я, например, едва ли не вслух убеждаю себя, уговаривая: «Ну держи себя в руках», и в это время у себя дома кого-то из домашних уже стригу глазами и закатываю долгие монологи по поводу холодного чая, что, впрочем, совсем не исключает более повышенных тонов, когда чай горяч и я поношу всех жаждущих сжечь мне горло. Виноваты все, во всем, всегда и всюду. Эти мои вывихи дома терпят, стараются не замечать, но все равно это зло не украшает нашей жизни, отнюдь.

Видя, что метод поглаживания по шерстке еще больше ошетинивает меня, жена попыталась однажды погасить этот ненужный пламень путем подбрасывания сухих веточек в него:

– Да-да, конечно, жизнь не удалась, ты несчастен, у тебя все плохо, и с тобой все ясно и кончено.

– Перестань паясничать, какая ты, право...

– Да, я такая... а ты... посмотри, посмотри на свой пиджак.

– На какой еще пиджак я должен смотреть, когда я сижу в халате и ем совершенно сырые яйца... просил всмятку, всмятку, я просил... так нет же, еще я должен озиаться на какие-то сюртуки. Что за дикая фантазия!

– Ты сам почему-то взял сырые, вареные вот.

...Никогда не пойму этих женщин, право, никакой последовательности.

– А на пиджак посмотри... не лишнее, я сейчас принесу...

Все походили с ума. Там режиссер требует: подавай ему жизнь человеческого духа, видите ли. Причем смотрит на меня так, словно готовится проглотить зонд для пробы желудочного сока, здесь пиджаки какие-то должен высматривать... все сговорились довести, добыть...

– Где газета сегодняшняя?

– А что, там сказано, как ты должен делать своего Иванова? Вот она.

– Там не сказано, как я должен делать Иванова, но там, может быть, я смогу найти ответ, на какой пиджак и зачем я должен глазеть.

– Ты напрасно злишься... Даже в самых дерзких своих мечтах ты не мог и предположить, что грудь твою будет украшать премия Ленина, что ты станешь Народным, что будешь необходим, с тобой будут считаться, хотеть работать, встречаться, говорить, видеть. Вспомни, дорогой...

Притащила пиджак и держит на вытянутых руках этакой ширмой передо мной... И молчит!.. Нет, жены – невозможный народ. Знает же прекрасно, что это лауреатство составляет тайную и явную мою гордость. Так нет же, выставила ее и держит вот уже минут семь как живой упрек: не заслуживаешь, не достоин. Выходит, так. А, бог с ними, с женами... такая нечуткость... никогда не пойму их. Да, газета... «В Центральном комитете КПСС»...

– Что такое? Что-нибудь случилось?

«Постановление о работе с творческой молодежью». О, давно бы надо... а то сладу нет... Ну вот, взволнован до того, что простые серьезные вещи не могу понять с одного раза – читаю дважды. Ну наконец-то!..

– Где Филипп, опять гуляет?

– Он в институте, на занятиях...

– Какая жалость... то есть... ладно, потом... Ну вот же... прекрасно: «Содействовать становлению творческих индивидуальностей, а не серой безликости»... «о профессиональном росте и занятости выпускников... не уделяют должного внимания молодежи, не состоящей в союзах».

Не могу спокойно видеть: слишком много для одного утра... До начала репетиции еще полтора часа: хлопнув дверью, «пошел в разгул».

Если действительно дать ход этому постановлению, сколько молодых сердец учащенно забьется в щедрой благодарности за его реальные возможности, сколько удивительно живых умов, светлых мыслей и творческих дерзаний найдут себе поле деятельности... прекрасно... Совсем не предполагал, что утро 21 октября будет таким радостно-взволнованным.

Может быть, мой друг и режиссер Олег Николаевич Ефремов прав, требуя от меня повышенной диалектичности движения в «линии» Иванова. Не может же, в самом деле, Иванов все время быть с застывшей маской обреченности вместо живого лица, он же не монумент, не памятник, как вот этот, например.

Вот уже в который раз в состоянии душевного смятения оказываюсь здесь, у памятника. Люблю Гоголя и по возможности перечитываю. Вот он и прост, и понятен вроде, но даже в манере глядеть, сидеть – безмерен и загадочен. Да-а-а, этот мог писать... а тот, на Гоголевском бульваре?.. Должно быть, мог – тоже ведь Гоголь. Оба они, хотя схожи лицом, но нравом разные и оттого совершенно непохожие. Мне лично больше по душе этот Николай Васильевич, тихий, мудро созерцающий остановившихся возле него.

...Гоголевский бульвар... Этот Гоголь иной, совсем иной. Если тот думает и пишет, то, в отличие от своего уставшего двойника, этот уже все написал и теперь лишь наблюдает и проверяет – оттого всегда он прям и бодр.

Вот такое необходимейшее для жизни и будущего нашей творческой молодежи постановление – кто из них двоих мог творить? Этот, оказавшийся много лучше при более пристальном и долгом осмотре, но все же... занятый самим собой: «как выгляжу». Надо будет действительно стоять «гоголем», чтобы уж никто не усомнился, что это я и есть, тот самый Гоголь, написавший... Или тот, сникший, мыслитель, тихо сидящий в садике своего дома, самозабвенно вникающий в тревоги соотечественников – в их радости и боли?

Бульвар... По сторонам редкие островки старой патриархальной Москвы.

Кропоткинская... С нежной взволнованностью бываю в этих местах. Здесь, именно здесь, в тихом переулке в течение полумесяца на высоте седьмого этажа... я когда-то размышлял над своим «сегодня» и составлял «проекты» на будущее. Это, должно быть, глупо, во всяком случае – напыщенно звучит. Однако вынашивались, грезились наивные планы сложных психологических ходов, тактических уловок и приемов, возводили ажур «воздушных замков», разрабатывались чудовищные по своей несуразности «прорывы», призванные взять измором, тупой назойливостью. Какое счастье, почти ничему этому не суждено было стать реальностью...

Место это было выбрано мною из нескольких: оно было надежным, удобным и оттого довольно продолжительным пристанищем. От верхней лестничной площадки с квартирами вела еще выше узкая лестничка с полным поворотом в обратную сторону, то есть на 360 градусов, так что, выходя из своих квартир, жильцы не могли видеть меня, и я мог спокойно возлечь на подоконнике замурованного окна у громыхающего, астматически шумящего лифта. Внезапный грохот его поначалу пугал меня, и я, нервно ошетилившись, вскакивал, но потом привык и пробуждался по ночам иногда оттого, что слишком уж он долго не тарахает, и тревога – «не сломался ли он?» – овладевала мной. Я спускался на шестой этаж, ждал кнопку лифта – он громыхал, и я, успокоившийся, поднимался по лесенке «к себе». Ну это ночью, все спят, и нигде никого нет. А днем? Не всегда спустишься и не всегда нажмешь. «Что вы тут делаете, гражданин?» – мог последовать вопрос. У меня же ни прописки, ни работы, и вид не так чтоб уж очень обычный. Лето, жара, а я в лыжном костюме. Так что при каждом раздававшемся внизу далеком стуке входной двери я с напряжением вслушивался в шаги, голоса, готовый в любую минуту ринуться по лестнице вниз, чтобы мастера, пришедшие чинить «моего сломавшегося сиплого соседа», не застали меня...

На Арбате именно такое уже было однажды. Меня спустили вниз, и я долго объяснял, что я хороший и никаких вещей у меня нет, и что я там ничегошеньки не прячу. Они хотя и обошлись со мной не грубо, но не поверили, а пошли проверить, оставив меня в красном уголке на попечении какой-то маленькой, сухонькой старушки. Я спокойно сидел, тая в груди мощные удары сердца Гамлета, и всем своим видом показывал, что смиренно жду их возвращения. Старушка оказалась на редкость любопытной и пыталась что-то спрашивать у меня, но я продолжал сонно сидеть, вроде бы и не слыша ее вопросов, а когда она взобралась на стул возле меня, чтобы включить репродуктор... я «рванул» в дверь так, что только во дворе, напугавшись, подумал, не сорвало бы старушку воздушной волной со стула. Смею предполагать, что оставил и этого престарелого стража, и тех двоих бдительных, которые должны будут вернуться с далеко не простым ощущением: «А был ли он вообще?» Лишь тот небольшой сверток с рубахой, с бельем и зубной щеткой, который я оставил там, вернул их, я надеюсь, в нормальное восприятие окружающего.



Анна Акимовна Смоктунович с внуком Филиппом



Я с Филиппом в период съемок фильма «Неотправленное письмо». Хлябово, 1960 год

Всякие мистические бредни и суеверия меня не коснулись. Я здоров душой и телом. Поэтому совершенно спокоен к перебегающим дорогу кошкам, вещим снам, ни малейшего трепета не испытываю ни перед какими числами, а всевозможные надтреснутые зеркала, вой собак и разнообразные спотыкания вместе с внезапно зачесавшимся носом и пресловутой кофейной гущей вызывают у меня досаду, не более. И вместе с тем я не мог бы поручиться, что этот подоконник у самого чердака шестизэтажного здания был простым, нормальным подоконником и вокруг него не гнездились порой своеобразные биополя и всякие там ауры. Иначе чем можно объяснить хотя бы то, что человек на подоконнике, заложив руки за голову, одиноко вытянуто лежит, вроде спокойно созерцая потолок, благо тот здесь рядышком, и не надо напрягаться, высматривая что-то где-то вдали. Но вдруг человек этот ошалело вскакивает и громко начинает выкрикивать обличительные монологи о неправде и близорукости. Все это было бы легко объяснимым, присутствуй здесь еще ну хоть один человек, все равно кто, а то вокруг ни души, а он орет и руками машет. Подоконник тот был на уровне седьмого этажа, что само по себе уже не низко. Однако, даже сидя на нем, совершенно невозможно было вообразить себя выше жильцов, живших тогда во всех этажах того дома, начиная с первого по шестой. А вместе с тем все они были где-то там, внизу. Я пришел тогда к совершенно определенному выводу, что существует, должно быть, какая-то малоизученная закономерность, которую я не в силах объяснить, а проанализировать ощущение ее, пожалуй, попытаюсь. Состоит она из двух, как мне кажется, частей. Вот они: во-первых – не ори, что ты выше всех, если сидишь всего-навсего на подоконнике; а во-вторых... располагая таким определенным «во-первых», совсем не обязательно иметь «во-вторых». Вот так, пожалуй. Здесь есть некоторая витиеватость мысли, но это-то меня и заботит, так как она навеяна именно тем чердачным помещением – просто омутом на седьмом этаже.

Но я хочу рассказать о совершенно непонятном, доселе мне неведомом, обнаружившем себя там, наверху, властно, вдруг и неотвратимо.

После одной из неудачных вылазок в очередной театр поднялся я к своему подоконнику. Ни мыслей никаких, ни возбуждения – хорошо помню – не было, только усталость. Да время от времени грохот и усыпляющий шум поднимающейся кабины лифта. Ничего особенного в звуке этом не было, но необходимость... еще и еще раз слышать его вытеснила на время все другие мысли и ощущения. Еще раз... и мерный скрип... скрип «санных» полозьев успокоил меня.

...Дыхание сквозняка снизу донесло запах чистого снега. Отбросив душную тяжесть дохи из собачьих шкур, щурюсь ясности празднично высокого неба, величаво плывущего вместе с нашими розвальнями. Как много снега! Узкий след полозьев, быстро выскакивая из-под саней, убегает резво прочь, но, сливаясь воедино, вскоре вовсе теряется в белом пиршестве зимы. След этот кажется ясной приметой радости, к которой уносят меня низкие сани. Она где-то. Она будет! Но скоро ли? И какую будет она? Ответа не могло быть. Только скрип полозьев...

Сани вдруг с силой качнуло, они вздыбились, и полость, резко хлестнув в лицо, перекрыла собой и без того робкую связь с миром. Пение полозьев смолкло, сани стали, и было слышно лишь тревожное фырканье лошади. Бесконечное множество мельчайших белых искр, пронизывающих морозный воздух, заполнило мир.

Неловко придавив меня сверху, заворочился возница, что-то прокричав над толщею шкур. Ему, помедлив, ответил высокий голос издали. Страшно и хорошо. Что будет дальше? Почему остановились? Пытаюсь сбросить мех совсем и, лишь слегка высвободившись, застываю пораженный...

Сани стояли у края огромной, теряющейся в солнечной синеве котловины. Дух перехватило от высоты. Хотелось отползти прочь, но сила, обратная, упрямо удерживала на месте, заставляя неотрывно глядеть в завораживающий, тянувший к себе край земли. Совершенно ясно осознаю тут, что это же все было под Томском, зимой, много лет назад: меня, пятилетнего, увозят из Татьяновки в Красноярск к тетке Наде... Причем само осознание было столь стремительно несущимся, что появилась боязнь – все вот-вот может исчезнуть совсем, навсегда. Неприятным суховеем тоски обдало сердце. Стало страшно до безысходности, и душа старалась уцепиться за то, что все это было давно, а сейчас лишь грезится мне... только грезится. Я словно вновь оказался на небольшой горюшке в окрестностях Томска, на краю обрыва, который разверзся на том зимнем пути из моей деревни в город.

Гулкая пустота. Никакой опоры – провал бесконечной тьмы. Хрупкое, до страха непрочное равновесие. Но и оно вот-вот нарушится, и сознание, не выдержав, угаснет... Был короткий миг, в который промелькнула мысль, что нужно держаться, держаться, не дать этой последней, ничтожно слабой зацепке уйти... иначе уйдет и этот миг.

Рядом грохнуло... с настойчиво нарастающим сипом поднялась кабина лифта... и остановилась передо мной... юркнуть наверх, к подоконнику, – не успею, заметят... Остался на месте... Дверь лифта, кем-то задерживаемая, тихо закрылась, и все замолкло. Ничего не понимаю, померещилось, что ли? Никого нет. Прошло много времени. Только тишина... и мой вопрос. Слегка выдвинулся вбок, чтобы увидеть пространство за металлической клетью... показалось чье-то плечо... хотелось остановиться, но не смог... Он стоял и ждал, когда я появлюсь из-за края лифта. Я знаю его; в этом подъезде дома я всех знаю... Он пенсионер и не любит проигрывать в шахматы на «скамеечных турнирах» Гоголевского бульвара. Я онемело уставился ему в лицо. Осмотрев все справа и слева от меня, он быстро, бесшумно оказался у перил и цепко обшарил глазами площадку этажом ниже. Он не заметил меня, хоть и был в трех метрах, я даже видел, как он покрылся красными пятнами. Косо улыбнувшись и прогремев связкой ключей, он ушел к себе... но странно: прикрыв дверь, он не защелкнул ее засова, как делал это всегда. Пойти и сказать: «Вы оставили дверь открытой»... Может не так понять... Дверь вдруг с силой рвануло вперед, ударило об стенку, прогремел угрожающий вопль вконец перепуганного человека, лихорадочно пугающего других, и все смолкло, только серая пыль разбитой штукатурки, разрастаясь огромным одуванчиком, медленно оседала вокруг.

Вскоре я был внизу, наслаждался солнцем, свободой, предоставляя людям, быстро пробежавшим в подъезд, убедиться, что чердак тот действительно не без странностей.

...К этому времени я побывал уже в четырех или пяти театрах, но все это было как-то глухо, вроде это и не происходило вовсе. Эти похождения из одной двери в другую были долгими, утомительными и, как теперь я понимаю, просто напрасными – бесплодными. Они ничего не могли изменить тогда, но бередили, ранили душу, озлобляли; многочасовые ожидания изматывали, унижали; все это я чувствовал и в следующий кабинет входил не таким, каким мог и должен был бы войти, то есть самим собой. Не ропщу, ни единого упрека ни в чем и никому, кроме одного, но и тот самому себе: в тридцатилетнем возрасте нужно бы уже знать себя и уметь владеть собой в разных обстоятельствах. Хорошо это или дурно, но временами мне кажется, что и сейчас-то не очень знаю, кто я такой есть. Если же порой и померещится нечто, то и тогда не сразу сообразишь, что это-то и есть я. Сложно.

Когда же вдруг на улице, у выхода из театра или у подъезда моего дома меня перехватывают взволнованные юноши, девушки или читаю полные тревоги письма с просьбой совета – как попасть на сцену, стать артистом, – я знаю наверное, что все это было, было, что это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только, что я шел, зная, чего хотел и что мог. И единственным советом, багажом в этом прекрасном, но и тяжелом пути к самому себе были Вера, Надежда, Любовь.

...Главный режиссер одного драматического театра на улице Горького, шумно подхватывая воздух, наслаждаясь когда-то удачно найденной манерой говорить, совершенно не затрачивая себя на это, мимоходом проямлил:

— У меня со своими-то актерами нет времени разговаривать, а где же взять его на пришедших всевозможных приезжих... и о чем, собственно, вы хотите говорить со мной?

— Я хотел бы, чтоб вы меня посмотрели, послушали...

— Я и так на вас смотрю и слушаю и, простите, ничего не могу сказать вам утешительного... прощайте...

Другой режиссер, главный в другом театре, был с виду тих и завидно флегматичен. Должно быть, зная эту его черту, секретарша впустила меня к нему в кабинет одного. Режиссер, очень аккуратный, хорошо выбритый седой человек, в очках с металлической оправой, сидел посередине своего кабинета в совершеннейшем одиночестве, и я не мог бы сказать, что он с повышенным интересом ожидал возможности познакомиться со мной. Нет. Совсем напротив, никакого интереса к входившему не было вообще. А когда я уже вошел и сказал «здравствуйте», он все еще пребывал в решении каких-то своих глубоко психологических проблем и только спустя минуты две, перестав следить взглядом за чем-то движущимся между ним и стеной, хотя там абсолютно ничего не было, мельком посмотрел на меня и, подперев лицо рукой, теперь уставился в деревянный подлокотник своего кресла. Он скользнул по мне взглядом так мимолетно, что, казалось, не заметил меня. Тогда во второй раз, но все так же бодро, как и в первый, я прокричал свое «здравствуйте». Все ведь зависит только от своего настроения, а оно у меня было таким, что это самое «здравствуйте» я готов был выкрикивать до вечера и позже, и все так же бодро... К тому же, будучи здоровым человеком, я люблю, чтоб и вокруг меня всех распирало от здоровья и хорошего настроения. Ничего не помогло.



Лейтенант Фарбер в фильме «Солдаты» по В. Некрасову. Режиссер А.Г. Иванов, «Ленфильм», 1956 год.

Прекрасный режиссер, замечательный фильм. Одна из моих удавшихся работ. Керженцев – Всеволод Сафонов

Режиссер уныло продолжал изучать подлокотник, и я решил тогда пустить целую гирлянду «здравствуйте», в надежде все же вывести его из состояния душевной задумчивости, и только я это подумал... как он, не оставляя, однако, научно-исследовательских изысканий по древесине, выдал вдруг такое количество этих самых «здравствуйте», что я опешил: «О, да с ним надо ухо держать востро, дядя-то, как видно, телепат». Он словно прочел мои мысли и посмотрел на меня очень строго, в упор.

- Да-да... Вы из Сталинграда. Как там Фирс?
- Фирс Ефимович ра...
- Да, небось он все кричит и так же рушит?
- Немного есть... Н...
- Сталинград возрождается, а?
- Строят... М-м...
- Спектакли посещают?
- Ну, в общем... С...

– Я побывал недавно в вашем театре от ВТО и видел ваше «Укрощение строптивой». Смешно вы это делаете, Смоктуновский, лихо. Это Токарев поставил?

Обрадовавшись, что меня знают и наконец есть возможность дельного, вразумительного разговора, я открыл рот...

– О...

– Вы что, так вот просто взяли и приехали в середине сезона, ни с кем не списавшись, не разузнав?

– Я получил приглашение от Софьи Влади...

– А Токарев больше ничего не ставил у вас, как актеры его приняли?

– А... Я...

– Забито все, голубчик, забито, и ничего не поделаешь.

* * *

А ведь как все было просто и в общем недурно...

Русский театр драмы в Махачкале летом 1952 года вяло заканчивал свой сезон. До отпуска оставалось десяток дней. Скорей бы. За год работы в этом театре я успел «испечь» пять основных ролей, не принесших мне, однако, ни радости, ни истинного профессионального опыта, ни даже обычного умения серьезно проанализировать мысли и действия образа. Многое, что составляет неотложность нашего труда, за этот год я не изведal. И причина, как мне кажется, была не только во мне самом, хотя было и это. Никаких накоплений не происходило, может быть потому, что большинство актеров театра были обеспокоены куда больше обилием кавказского базара, нежели творчеством в театре. Я это чувствовал, видел, мне был не по душе этот гастрономический ажиотаж, но быть судьей тех актеров я не мог, хотя бы потому, что сам после пяти лет работы в Заполярном театре на Таймыре, получив вместе с робкими ростками профессиональных навыков полный авитаминоз, ринулся на юг – к морю и фруктам. Пляж, базары – хорошо, кто спорит. Но я тогда еще не знал, что это опасно, очень опасно: что это конец. Само помещение нашего театра стояло (должно быть, и до сих пор стоит) на самом берегу моря, просто на городском пляже, так беспощадно тянувшего к себе из репетиционного помещения, в котором по углам иногда бегали огромные портовые крысы.

Оказавшись здесь, у моря, и привыкнув к нему, я совершенно неожиданно для самого себя был покoren красотой гор Северного Кавказа и в свободное время уходил туда, растворяясь в их мощи, волнуясь настороженностью и загадкой их величия. Жизнь актера периферийного театра меня вполне устраивала. Единственно, что хотелось, – и это ощущение было ясным – объездить как можно больше городов, театров, и чем отдаленнее, экзотичнее и неведомее уголки нашей огромной страны – тем лучше.

Именно это желание в свое время побудило меня поехать в Норильск, затем в Махачкалу и неотступно призывало махнуть на Южный Сахалин. Скорее всего, оно бы так и было, не окажись у нас на спектакле брата и сестры – Леонида и Риммы Марковых, актеров Московского театра Ленинского комсомола. Они приехали в отпуск к родителям в Махачкалу, и профессия потянула их вечером в театр. Такие зрители для наших будней редкость невероятная, и, что говорить, мы были взволнованы, но каково же было мое удивление, когда я увидел значительно большую взволнованность этих двух красивых, стройных молодых людей, зашедших после спектакля к нам за кулисы. Не стесняясь этой своей взволнованности, они, мягко и мило перебивая и дополняя друг друга, растревожили меня уверениями, что все то, что я делаю на сцене, интересно и что мне непременно нужно работать в Москве по той простой причине, что моя манера (оказывается, у меня есть своя манера) существовать и действовать на сцене своеобразна, неожиданна, а что самое главное – современна.

Неожиданно оказавшись владельцем всего, о чем не смел даже предполагать, я был смущен и все же пригласил этих замечательных зрителей приходить и на другие мои спектакли. Они пересмотрели все с моим участием – мы подружились, нам вместе было о чем говорить, молчать и спорить. В конце концов они заявили, что по возвращении в Москву непременно будут говорить обо мне со своим главным режиссером, Софьей Владимировной Гиацинтовой.

В то же время в йодистых водах Каспия в утренние часы можно было наблюдать огромного, рано поседевшего, красивого человека, который, наслаждаясь спокойствием моря и одиночеством, то медленно погружался в воду, то вновь появлялся над ее гладью, оглашая при этом набережные кварталы трубными звуками, подобными реву морского льва. Львом этим оказался Андрей Александрович Гончаров – замечательный режиссер из Московского театра на Бакунинской. Он сбежал в свой отпуск из шумной Москвы. За неделю-полторы, утолив голод в тишине и одиночестве, он ощутил, видимо, потребность в общении, забрел к нам в театр и пересмотрел все наши спектакли. Окруженный тесным кольцом актеров, переходя изящно взглядом от одного разгримированного лица к другому, вроде бы все еще досматривая спектакль, он как-то симпатично в голос смеялся и говорил почти каждому из нас те или иные оценки, замечания. Посмотрев на меня, ничего не сказал, но так же в голос засмеялся. Не зная чему, я тоже захохотал, однако наши актеры неодобрительно скосились в мою сторону, и я, сообразив, что сделал что-то недостойное, умолк. И опять мы безотрывно глядели на «пришельца» из того, другого, непонятного нам мира, мира высокого искусства. Благоговейнейшая тишина чередовалась лишь с переливами грудных обертонов высокого гостя. И только когда в тоне режиссера прослышалось «я все сказал» и он действительно умолк, кто-то из артистов-старейшин, робко осмелев, выявил заботу:

– Удобно ли вы сидели, у нас такой скверный зал?

– Мне всегда удобно. А зал действительно у вас плох, и какие-то кошки бегают по ногам.

Поднялся хохот. Теперь уже смеялись все. После этой прекрасной минуты мы, наконец, стали сами собой, и Андрей Александрович поинтересовался, нет ли среди нас любителей уплывать в море. Не осознав, что он разумел под «уплывать в море» и не владея никаким стилем в плаванье и лишь умея держаться на воде, я изъявил готовность плыть.

– Прекрасно, завтра утром мы это и сделаем, там и поговорим...

Утром, мощно рассекая воду, он уплывал далеко вперед и ждал меня. Не успевал я доплыть до него, как он вновь торпедой уходил к горизонту, явно намереваясь для начала переплыть Каспий поперек! Видя, наконец, что вместе с силами я теряю и плавучесть, он улегся на воду, как в постель, и явно был обрадован, когда я, вытянувшись не хуже его, глубоко задышал рядом.

– Вы на удивление живой артист, Кеша...

Всех этих славных признаний за последние дни было бы с излишком и для сильного человека на суше, но здесь... в открытом море... Я уже было начал свое большое погружение, и только его вторая фраза: «Где вы учились?.. Что кончили?..» – заставила меня всплыть.

– По актерскому ничего... ничего... не кончал...

– Ах вот откуда эта самобытность... Ну что ж, бывает и так. Нужно работать в хороших театрах, где-нибудь в центре. Поезжайте в Москву, здесь ничего не достигнете. Здесь прекрасны вода, утро, пляж и солнце, но театр оставляет... Пяток достойных актеров, а добрую половину труппы нужно будить, остальные вообще... отговорил – и в горы. Нет, конечно, в Москву. Легко, вероятно, не будет – манны не ждите. Но Москва – жизнь, ритм, споры, возможности, борьба – прекрасно, Кеша. Такое количество театров, да хотите, приезжайте в наш – пока молоды, надо. Поиск, творчество – прекрасно.

И, издав мощный рев, шумно ушел в воду. Онемевший, я некоторое время щепкой болтался на воде, потом тоже попытался издать львиный рык, но, по-моему, ничего не вышло, и я начал озираться по сторонам в надежде определить, к какому горизонту мне предстоит плыть теперь.

После вялой двухлетней переписки и переговоров с Московским театром Ленинского комсомола вся несостоятельность моих притязаний стала, наконец, очевидной и для меня. Я вроде очнулся от завоораживающего, долгого сна, и мои друзья в Волгограде, где я работал уже два года после Махачкалы, вдруг увидели меня совсем отличным от того, каким привыкли видеть. «Если за пять лет я не смогу сделать ничего такого, ради чего следует оставаться на сцене, – я бросаю театр», – заявил я. Решив, я освободился от тяжести ожиданий, сомнений и послал в Москву телеграмму: «Уважаемая Софья Владимировна готов приехать постоянную работу тчк сообщите когда в чем сможете предоставить дебют тчк уважением Смоктуновский». Ничего скромного в этой телеграмме нет – она, собственно, так и была воспринята. Только думается, что послание это не столько удивило, сколько напугало – ответ пришел на следующий день. «Не ссорьтесь театром тчк приезд дождитесь отпуска тчк сообщите чем хотели бы дебютировать тчк уважением Гиацинтова».



Кадр из фильма «Неотправленное письмо». Как ни странно, я здесь почти без грима

Через три дня, совершенно и навсегда порвав с Волгоградским театром, я предстал перед несколько потерявшейся Софьей Владимировной.

- Как, вы приехали?..
- Да, я приехал.
- Совсем?..
- Разумеется!

Никакого дебюта, конечно, не было, да и не могло быть, а был показ, обычный показ, какие практикуют во всех театрах, с тем чтобы руководство театра имело большее основание заявить навязывающимся в театр актерам: «Извините, вы нам не подходите».

На показ пришло человек двадцать актеров. Я был полон сил, решимости, настроение было прекрасным – я знал, что и как я должен делать, и даже не очень волновался. И вот уж не знаю, чем объяснить, но по ходу этого домашнего показа раздавались аплодисменты и не раз вспыхивал дружный смех. Это – единственный удачный мой показ в Москве, вселивший в меня уверенность, что мой приезд вполне оправдан и что меня обязательно возьмут.

Софья Владимировна, трясая мою руку, взволнованно и как-то безысходно повторяла:

– Дорогой мой, дорогой... Что же делать? Что ж? Да, да...

– Что делать... брать надо, Софья Владимировна, брать, – под видом шутки протаскивал я затаенную, страшную жажду.

Софья Владимировна, милая Софья Владимировна – она была первым и единственным человеком, просто и заинтересованно разговаривавшим со мной. Узнав, что мне не только негде жить, но и не очень есть, чем платить за жилье, она предложила, чтобы я снял комнату или угол за ее счет.

Буквально на следующий день я был довольно радушно встречен директором театра, медленно разговаривавшим человеком, из чего создавалось впечатление, что каждое произносимое им слово он взвешивал на каких-то своих внутренних тяжелых весах.

– К подбору актеров мы должны подходить фундаментально, – тяжело качнул он кистью руки, как бы определяя вес актеров, а заодно и вес того фундамента, который собирался брать за единицу измерения необходимости в актере. И тем не менее наш разговор шел довольно гладко до той поры, пока я не произнес слово «прописка».

И вот здесь все пошло значительно быстрее и без всякого дополнительного взвешивания. Выяснилось, что он готов взять меня в свой театр, но не может в силу того, что у меня нет московской прописки, прописку же я мог получить, только имея постоянную работу в Москве, и наоборот...

Этим вот милым разговором и начался тот самый, удивительный путь по театрам Москвы, где, воображая, что я иду вперед, я уже шагал по строго замкнутой окружности. Не отчаиваясь, однако, и памятуя наши утренние морские «марафоны», я с легкой душой побежал в театр на Бакунинской. Андрей Александрович, широко разведя руки, с радостью встретил меня: «Ах, вот куда завела вас ваша... самобытность... Ну что ж, бывает... Работать можно в любом театре, если работать, разумеется... а здесь переизбыток прекрасных актеров... поезжайте куда-нибудь в Среднюю полосу России – замечательные театры, насущный спрос на современного актера... в Россию, конечно в Россию, – легко, вероятно, не будет... манны не ждите, но – ритмы, спор, творчество, поиск, перспективы... пять-шесть премьер в год, вздумайтесь только – прекрасно... возможности, каких просто не сыскать здесь... прекрасно...»

* * *

...Когда все ступени этой долгой лестницы были исхожены и впору хоть начинать сначала, кто-то обмолвился: не попытать ли счастье в Московском театре-студии киноактера. Делать нечего – пошел «пытать». И довольно скоро выяснилось, что «пытать» буду не я, а пытаться будут меня. Но этому всему суждено было происходить несколько позже, а пока, ничего не подозревая, я шел в этот театр-студию, полный светлых, радужных надежд. Люди, у которых я оставил ящик со своими вещами, уехали в отпуск, не сказав мне ничего о своем отъезде, и вот уже целую неделю я хожу по испепеленной солнцем Москве в лыжном костюме. Стеснен ужасно. Несвеж, весь мятый, хоть бы пасмурный день, а то жарыща дикая.

Москва давно не помнит лета с такой жарой. Теневые стороны улиц столицы битком набиты москвичами. Приезжий люд, стесняясь и теснясь, заполнил все солнечные стороны. Я был на солнечной стороне, разумеется, – там было проще – по-свойски, никто не замечал моего лыжного костюма и того, что я нездешний.

А вот и это неудобное нагромождение здания Театра-студии киноактера на улице Воровского. Совершенно не представлял, что этим днем начинаю свое нашествие на кино.

Внутри помещения тихо и прохладно – боже, как хорошо. Вот здесь бы и работать. Прислонясь воспаленно нагретым лбом к холодному гляncу стены, почувствовал, что пришел к своим. Так хорошо и тихо может быть только дома. Не выходной ли у них сегодня? Что-то никого не видно.

– Эй, ты там, хватит подпирать стенки, иди поддержи лестницу, – раздалось вдруг нагло громко. Молодые ребята-монтеры наверху тянули какие-то провода. «Вот я уже и работаю здесь, – пронеслось во мне, – неплохое начало». Разузнав у мастеров, где кто, и прихватив кусок изоляционной ленты, которую удобно было наматывать на палец одной руки, с тем чтобы здесь же перемотать на другую, приятно преодолевая наивное сопротивление ее клейкости, отправился в директорский кабинет. С такой произвольной моталкой рук перед собой меня и застал голос секретарей (дом тишины и внезапных окриков):

– К директору... по какому вопросу?

– По вопросу найма.

– Нам электрики не нужны...

– Я не электрик, я – артист...

– Да?! А артисты тем более... и вообще директора нет.

Бросило в жар и на секунду стало тесно, как только что на солнечной стороне. Я ждал, ждал эту фразу и вместе с тем глупо надеялся, что хоть здесь-то она не прозвучит. Нелепо предполагать, что секретари всех театров созвонились между собой: «Мы должны быть едины, отвечая ему, иначе нам конец, – директора нет, и все тут – он уехал».

Поэтому я не удивился, что меня не принимают, его же нет. Что тут удивляться? Вот если бы вдруг сказали: «Он у себя и ждет вас», вот тут, я думаю, какая-нибудь кондрашка меня могла бы хватить совершенно запросто.

У вас директора нет – понятно, а у меня удивления нет. Это уж вам понимать, но мы квиты.

Я поблагодарил и ушел, ясно слыша голоса из полуоткрытой двери кабинета директора.

Я ушел. Надо было что-то менять, и менять основательно, конструктивно, но что именно и как – придумать не мог. Кара, должно быть, действовала, а может быть, многомесячное хождение по театрам Москвы сказалось, голова была вялой, инертной... В общем, чувствовал я себя, прямо скажем, не шибко. А здесь еще моя дурацкая взбалмошность. Вдруг ни с того ни с сего вздумал худеть. Мода, видите ли. Но здесь я не совсем искренен, признаюсь. Было иначе. Кто-то сказал, не помню: «Познай себя – и обретешь мир». Хотя и не совсем представлял себе, что я буду делать и как подобраться к такой громоздкой недвижности, как вселенная, все равно это показалось мне заманчивым: мало ли – обретешь мир. И я решил начать с покоя в себе, а через это приручать уже и все остальное, то есть всю нашу планету. Я пришел к этой мысли исподволь. Забот особенно никаких, времени свободного – пруд пруди. Истина через познание самого себя, через самоограничение завладела мной целиком, просто поглотила меня. Уж очень хотелось ощутить: я и вселенная, и больше никого, ни одного директора. Начал постепенно урезать себя в пище. Не то чтобы на научной основе – институт голода там, диета, и за месяц пузо втягивается, глаза проваливаются и начинаешь ходить вприпрыжку с лихорадочным блеском в глазу, удивляя всех своей повышенной общительностью, желанием рассказывать всем и все, как славно и легко себя чувствуешь. Пугая

ежеминутной готовностью продемонстрировать свой ввалившийся живот, предварительно и незаметно, разумеется, еще больше втянув его в себя. Нет, у меня тогда была своя метода. Никаким врачам я не показываюсь – в деле похудания они ни к чему. Я просто начинаю мало есть. Способ доморощенный и примитивный до смешного, но эффект поразительный. Вот пить в это время нужно больше, и хорошо бы дистиллированную воду, освобожденную от всяческих солей и кислот. Нет ее – на каждом углу торгуют газированной водой. Нет – тоже не следует отчаиваться. В некоторых цоколях домов есть краны для поливки улиц в летнее время: открываешь этот кран и пьешь сколько твоей душеньке угодно – вода чистая. Ну, правда, это сопряжено с некоторым неудобством. Желательно, чтоб рядом не случился дворник... А я не знал... пью себе преспокойно, и вдруг меня за руку цап – и давай кричать истерически, словно я пил не воду, а соляную кислоту. Я попытался было объясниться – так дворник тот еще и свистеть отрывисто стал, призывая на помощь. Смешно просто. Обо мне мать никогда так не беспокоилась. У нас в Сибири просто принято пить сырую воду во время обеда. Бывало, ешь-ешь, захотел пить – зачерпнешь ковшиком из бочки, и прекрасно. Ни крика, ни шума, а здесь – крепко так держит, видно, боится, что упаду, – заботливый такой. Ничего бы этого не произошло, будь этот кран вмонтирован несколько повыше, а он был низко, у самого асфальта, и мне пришлось довольно долго быть на коленях. Положение не из завидных, неудобное положение. И стоило мне подняться, как кругом все поплыло, – и лихорадочная слабость с мелкой дрожью внутри. Видно, с диетой дал лишку. В общем, одно на другое. Здесь бы и подышать свободно, поглубже, самое время, а он со своим участием. Ни дать ни взять – медвежья услуга, а сказать неудобно, человек, видно, от чистого сердца – боишься обидеть. А он, продолжая свистеть, все сильнее сжимал мою руку выше локтя, даже больно стало. Я, помню, сказал ему:

– Знаете, больно...



Князь Лев Николаевич Мышкин в спектакле «Идиот»

И вот здесь он покори́л меня совершенно. Он вдруг улы́бнулся легко, просто. И еще сильнее своей клешней сжал мою руку. Мне тогда и невдомек было, что этим болевым ощущением он стремился отвлечь мой организм от тошноты и головокружения.

А выглядел, между прочим, тот дворник совершенно обычно, никогда б не заподозрил в нем ни глубины той, ни гуманности, ни ума. Есть такие обманчивые лица. И что самое поразительное, что делал он все это ну без всякой показухи, сентимента. И вообще москвичи это умеют, надо отдать им должное – никакой аффектации. Все просто. Молодцы.

Придя однажды опять в Театр-студию киноактера, я оказался в гуще популярных и просто знакомых по кино лиц. Такого скопища «звезд» я не видывал никогда раньше и, потяввшись несколько, тем не менее жадно вслушивался в сигналы этой удивительной Галактики. В общем-то это было нечестно, бессовестно – я подслушивал, но узнать тайны творчества, их жизненные устремления, приведшие к возможности так полно и явно выявлять себя, – упустить этот, может быть, единственный случай я не мог. Поминутно удаляя испарину со лба, я беспрепятственно переходил от одной «галактики» к другой. Здесь говорят о каких-то катерах, там рассказывают о забавных, острых ситуациях, просто смешно и весело острят; в общем, вели они себя, как обычные пришедшие на профсоюзное собрание люди, но... лишь с той простотой и полной раскрепощенностью, которую могут позволить себе лишь избранные – баловни судьбы. Они просто источали уют, удобство и взаимопонимание. Для них, казалось, не существовало невозможного, напротив – все легко и безболезненно. Секретарь директора, которую я всегда видел с лицом замкнутым, как томагавк (и другой ее даже представить себе не мог), здесь улыбалась приветливо и мило, была общительна и стала даже привлекательной. А когда кто-то из знаменитостей бесцеремонно шлепнул ее по... ну, по этому... в общем, пошутил с ней довольно грубо и она не обиделась, не оскорбилась, а лишь кокетливо вскрикнула: «Ох вы, препротивный шалунишка этакий!» – я вмиг понял, что веду себя совершенно неверно. Не надо ничего из себя изображать – ни воспитания, ни повышенной вежливости, тем более что ничего этого во мне, в общем-то, нет и никогда раньше не было, – а нужно быть только самим собой, и больше ничего. Захочется шлепнуть – давай, шлепай. Это будет только мило и симпатично. И в тот самый момент, когда я вообразал, что ухватил наконец нить, столь необходимую мне сейчас, их всех вдруг попросили в репетиционное помещение... «Второй акт с выхода гостей и до конца!» – прокричала женщина, распахивая двери. Вот те на. Оказывается, все они пришли на репетицию?! А никто из них ни словом не обмолвился ни о ролях, ни о каких-то там творческих соображениях, вроде тех и не существовало. Нет, как я ни вслушивался, как тихо и осторожно ни переходил бы я от одних к другим, из меня, конечно, никакой шпион никогда не получится. Смотреть во все глаза и не увидеть главного – такое надо уметь. Расстроенный, я не заметил, как вместе с ними подошел к тем дверям, но странно – казалось, они тоже были чем-то вроде расстроены, во всяком случае большинство из них. А некоторые актеры совсем сникли и нехотя, не спеша входили в двери. Общая перемена в их настрое была разительной, и ее-то не заметить было просто невозможно... И я вдруг все понял: ай-яй-яй-яй... вот это да-а. Это в их уже завоеванном положении? Невероятно!

У нас, у актеров, существуют всякого рода поверья, и поверий этих, тайн – превеликое множество. У каждого актера они свои, так сказать – индивидуальные. Призваны же они для одного – помогать нам, оберегать нас от провала. Но есть и расхожие общие, и одна из таких общих тайн кроется в простой с виду фразе: «Роль слезу любит». О, значит это многое: не болтай о роли, а приготовь ее как следует, не жалея себя, как если бы роль эта была единственная и последняя возможность разговора о необходимом, о жизни. И – молчи. Молчи. Если уж невтерпеж и тебя распирает от желания поделиться, как это у тебя все здорово, талантливо получается, то – плачь, хнычь, но не смей похваться и предвосхищать

то, чем ты собираешься завоевывать и поражать зрителя, иначе – провал. Молчи, и только таким жестоким самоограничением сможешь уберечь грядущий успех...

«Звезды» уходили за дверь погасшими, молчаливо – я был поражен. Это был ритуал перед началом работы, требовавшей жертв, дани от своих жрецов. Пораженный, я уставился в дерматиновую пухлость двери, ревностно оградившую их от меня.

Войти вместе с ними я не смел, но побыть хоть где-то рядом было до взволнованности приятно и даже немножечко гордо – вроде я тоже из их среды и имею отношение к их судьбам, к их всегда праздничной, полной поэтической прелести, загадок работе и жизни.

Что происходило на репетиции, к каким пластам глубин человеческих добирались они там?

В стороне от той заветной двери у стены сиротливо стояла яркая двустворчатая заставка от какой-то декорации. Подумалось: а есть что-то общее со мной – тебя выставили, меня не впустили, и вот мы оба здесь: ты у стенки, я – тоже. Сперва неосознанно, спотыкаясь, я то и дело задерживался взглядом на ее намалеванной праздничной мозаике. Заставка служила, должно быть, входом во что-то – на лицевой ее створке был вырезан дверной проем, в который откровенно, не стесняясь своей наготы, глядела мешковина тыльной стороны другой смежной створки. Вокруг этого дверного проема надменно-иронической рукой бойкого художника была выведена вся прелесть летней сказки: какие-то фантастической величины и формы цветы, травки, лепестки, цветастые стрекозы и бабочки парили над праздничной свежестью цветов. И все это было сдобрено обилием щедрого солнца... А по еле угадываемой тропинке вглубь уходила девушка в светлом платье. Уходила быстро, едва касаясь ногами травы. В ее порыве уйти угадывалось, однако, желание оглянуться и, может быть, даже позвать с собой вдаль, и она уже повернула голову и приоткрыла рот... но ветка дерева досадно перекрывала собой ее глаза. Женщина вроде дразнила: «Ну что же ты, входи... ты так настойчив, – вот дверь, видишь?..» – и, не сказав самого важного, неудержимо удалялась, готовая в каждое последующее мгновение произнести окончательное «идем».

Передо мной две двери: настоящая, добротнo утянутая, как молодой лейтенант, портупеей, крепкими, крест-накрест, узкими полосками дерматина, – не впустившая меня, и другая, впрочем, даже не дверь, а вырез, обнаживший серый холст мешковины, за которой была стена – тупик, но до чего огромный, щедрый мир сулил мне этот лишь кистью намалеванный вход в жизнь, он был открыт, звал и был прекрасен. Чудо.

Москва вместе с отверженностью подарила мне и друзей, которые верили в меня, несмотря на мое затянувшееся созревание. Проводив меня сегодня до самого здания театра, она сказала: «Все будет хорошо, вот увидишь». И сейчас, стоя перед этими дверьми, я вслух засмеялся – она уже говорила это месяцем раньше, но хорошего все не было.

Жила она в переулке «Посланников», у серой громады Елоховского собора. Время от времени я бывал у них, и всякий раз перед моим уходом она вместе с матерью приглашали заходить снова, не забывать, говоря, что дом всегда открыт и мне будут рады. Я каждый раз обещал появиться вновь тогда, когда уже чего-нибудь добьюсь, изменю этот нескладный, отбрасывающий меня в сторону ход событий. Но время шло, а перемен не было, и я вновь появлялся у них, снедаемый стыдом и тоской в желудке. И вот, размышляя, как-то я с неотвратимой ясностью увидел вдруг, что за все это долгое время я не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше, глубже увяз в этом глухом непонимании, и что выхода, пожалуй, и нет. Эта простая мысль меня поразила. Может быть, я впервые увидел себя со стороны – и потом долго сидел терзаемый стыдом: как мог я обременять собой, своими неудачами добрых, милых людей, и я решил больше никогда не приходить к ним.

Да еще острым укором припомнился мой первый приезд в Москву, когда я ввалился к одним нориянам, которых едва знал, но которые совсем не знали меня, если не счи-

тать того, что раза два видели меня на сцене Норильского театра. Три дня я пробыл у них и понял, что если тебе дают адрес и мило говорят, что-де, мол, будешь в Москве – заходи, то это еще совсем не значит, что ты так же мило можешь заходить. Тебя пригласили, с тобой были любезны, ну и будет. Тогда я ничего этого не понимал и пожаловал к ним с вещами. И впечатление, которое я на них произвел тогда, было куда более волнующим, я думаю, чем то, которое они испытывали, ранее глядя на меня из зрительного зала. Должно быть, творчески я уже здорово окреп и мог запросто потрясать обычным своим появлением в дверях.



Князь Лев Николаевич Мышкин.

В драматическом искусстве не знаю – может ли быть выше. И не потому, что это уже однажды произошло. Но где и когда, а главное у кого, может родиться столь редкая по чело-

веческим задаткам драматургия, как это преподано Федором Достоевским в его «Идиоте», т. е. в князе Льве Николаевиче Мышкине. Если говорить откровенно, ни одна моя работа ни до, ни после не подошла и близко к этому уровню. К сожалению, это – правда!!!

Я уже полмесяца не был у них, не видел ее, и теперь она пришла навестить меня у наших общих друзей Марицы и Валентина Бегтиных-Ганцовских. Очень ясно, до четкости, вспомнилось выражение ее лица. Сама она, я думаю, не пришла бы, но по телефону Марица ей сказала, что я попал в беду... приходи, мол, проведай. «Да что случилось?» – мягко домогалась она. Марица, жена Валентина, приютившая меня в эти дни, хохоча в трубку, сказала:

– Ничего особенного, но это лучше видеть!

– Хорошо, я приеду.

Марица осторожно подносила трубку телефона к моему опухшему, ставшему разноцветным, бесформенному лицу – и я все слышал...

Накануне вечером мы с Валентином ехали в троллейбусе. Зная, что у меня был нелегкий день, он спросил меня, почему не сажусь. Я стоял около какого-то дремлющего парня в очках, у окна рядом с ним место было свободным. Нам скоро нужно было выходить, и я, совсем не желая обидеть или, боже упаси, оскорбить этого молодого человека, ответил Валентину, но, наверное, несколько громче, чем следовало: «Вот сейчас попрошу этого очкарика подвинуться и сяду. Подвиньтесь, пожалуйста. Пожалуйста», – повторил я, но молодой человек моих излияний вежливости не услышал или не оценил, зато слово «очкарик» в него запало, должно быть, глубоко. И, воодушевившись, он кликнул своих товарищей – их оказалось в троллейбусе человек шесть, они избили меня. Причем били долго, дружно, не стесняясь, все – в очках и без очков.

И вот теперь она пришла. Через оплывшие щелки век я немного видел, но ей, очевидно, было непонятно – вижу я или держу лишь лицо вверх, чтоб не свалились примочки. Она молчала и, постояв, как в почетном карауле перед скончавшимся, ушла в прихожую, откуда донеслось: «Марица, руки помыть можно?» – «Конечно, ну, как ты его нашла?» Ответа не было. «Да-а, славно поработали ребята», – выдохнула она, вернувшись, и наконец улыбнулась.

– Ничего, мы молодцом, глаза и зубы целы и прекрасно, – проговорила Марица бодрым тоном врача, скрытно знающего, что с этим пациентом все кончено. Не сообразив, что возражает Марице, она осторожно сказала: «Да нет – все будет хорошо... все будет...» Наивность этой домашней самостоятельности рассмешила меня, но вместо смеха вырвались какие-то клочья рваных всхлипываний. Она отпрянула, улыбка сошла с лица, и, странно кривя губы, она медленно выговорила: «Ты опустил бы голову, тебе неудобно».

Едва не физически я ощутил, что все страшное позади, что есть, есть она – человечность, есть любовь и ее так много в этом худеньком человеке, что она буквально заливает, топит меня, она пришла: столь долго отыскиваемое мною человеческое внимание, тепло клокотало в ней болью, тревогой за меня. Хотелось спросить и сказать, но, прохрипев, я замолк и, ничего не видя, стал неотрывно глядеть в пол. На все обращения ко мне я упрямо молчал, стараясь как можно больше прикрыть лицо руками. Если даже я пытался бы, то не смог бы сказать ни слова – я выстоял, нашел, нашел, может быть ценой слишком непростой, долгой и жестокой, но нашел, и теперь ничего не страшно. Она пришла.

Взволнованный ее сегодняшней мягкой решимостью и знакомством с людьми, скрывшимися за черной дверью, я стоял и улыбался. Было хорошо.

Москва-то и вправду добрая, уютная, и никакой я не чужой в ней. Никто, оказывается, не замечает моего зимнего лыжного костюма. Неужто я и впрямь мог злиться на белоснежную легкость рубашек москвичей. Да-а-а, значит уж действительно было нелегко. Дошел, как говорится, до ручки. Все хорошо. Я решил. Мир – стал иным. Свежая нежность утренней

дымки. Выходя из тени дома, окунаешься в плотность лучей июльского солнца и хочется лечь на них. Останавливаюсь у нагретой этим чудным утром стены, задрав голову, подставляю солнцу лицо с закрытыми глазами. Мыслей?.. Никаких! И сожалений нет. Скорее ощущаю, чем слышу, мчащуюся рядом, ставшую вдруг тихой и своей Москву.

Как хорошо, до удивления хорошо просто жить, дышать, видеть в прикрытых веках собственных глаз спокойно-розовый отсвет с падающей и вновь вверх подпрыгивающей вязью кружков и паутинок. Как знать, была бы эта радость жизни сейчас, если бы пройденное не набросало на глаза этой плавающей «вуали», стремящейся оградить окружающее от моего не совсем еще осознанного «я», но ни это, ни что другое не могло огорчить меня – я был растворен в робкой радости утра, в солнце, в воздухе, в теплой стене за моей спиной – во всем. Я был страшно малой, но все же составной частью этого огромного, напоенного солнцем мира, и со мной не считаться нельзя – я есть, я буду, потому что пришла она.

В Московском театре имени Ленинского комсомола, где она работала, шел какой-то спектакль. Дверь из ложи отворилась. Я тогда впервые увидел ее. Мгновение задержавшись на верхней ступени – двинулась вниз.

Тоненькая, серьезная, с охапкой удивительных тяжелых волос. Шла не торопясь, как если бы сходила с долгой-долгой лестницы, а там всего-то было три ступеньки вниз. Она сошла с них, поравнялась со мной и молча, спокойно глядела на меня. Взгляд ее ничего не выпрашивал, да, пожалуй, и не говорил... но вся она, особенно когда спускалась, да и сейчас, стоя прямо и спокойно передо мной, вроде говорила: «Я пришла!»

– Меня зовут Иннокентий, а вас?..

Должно быть, когда так долго идешь, а он, вместо того чтобы думать о будущем, занят всякой мишурой, вроде поисков самого себя, стоит ли и говорить-то с ним.

И она продолжала молчать.

– Вас звать Суламифь, это так? Я не ошибся?

– Да, это именно так, успокойтесь, вы не ошиблись. Что вы все играете, устроили театр из жизни – смотрите, это мстит.

Ну вот поди ж – узнай, что именно этот хрупкий человек, только что сошедший ко мне, но успевший, однако, уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни – меня самого...

С недавнего времени я стал желанным и едва ли не обязательным объектом работы репортеров, художников, фотографов, фотокорреспондентов, фотографов-любителей, просто любителей автографов и не совсем простых любителей.

Каюсь, некоторое время я наивно предполагал, что все это происходило с моего доброго согласия и порой даже желания, но вскоре обнаружилось, что это был самообман, да, тот благодетельный самообман, которому не могут быть ведомы его последствия.

И ростки этого моего заблуждения дали вскоре обильные всходы, вызрев в совершенно удивительные плоды, при одном взгляде на которые может швырнуть в состояние легкого нокаута.

– Эта рубаха не пойдет – я снимаю цвет... есть что-нибудь яркое, броское?

– Яркое, броское... такого, пожалуй, не найду...

– Позволь, позволь, а это что?..

– Нет, это кофта жены...

– Прекрасно, это то, что надо...

– Да, но...

– Одевайся... О, я уже вижу, это будет прекрасное пятно...

– Пятно-то будет...

– Минуту... разговорчики в строю... грим есть?

– Какой грим? Обычный актерский?

– А что, существует еще и режиссерский?

– Э... э... э... а...

– Минуту, всякие ля-ля потом, за рюмкой коньяку! Стань сюда, вот на этот сочный колер, лицо к звездам, к звездам... космос... летишь, в звезды врезываясь, как там, у Володи... ни те ресторанов, ни пивной... скучища – скулы ломит. Шире глаз... вот... нет, не вижу рта... Грима, говоришь, нет, давай губную помаду жены!

...Неделю живу, поджариваемый недобрыми предчувствиями. И вот он, черный понедельник. На ядовитом фоне какой-то рыжий странный мужчина с накрашенными губами осатанело намеревается лбом прошибить потолок. На оборотной стороне этой фотокарточки с ужасом обнаруживаю свою фамилию. Значит, это все-таки я... Таким я еще никогда не был. Выходит, что человек действительно неисчерпаем. Он – многолик.

Или вот еще визит, который тоже не принес мне особой радости, хотя пришелец был иного масштаба и вкуса, это виделось сразу. Судя по тому, что и как говорил этот товарищ, – он был тонким, вдумчивым художником и недюжинным знатоком света, формы и ракурса. Когда у кого-нибудь так много всяческих талантов, гибкости и знаний, то одно количество всех этих чудес уже обескураживает и чувствуешь себя вроде в чем-то виноватым. Правда, я все время порывался спросить: а что же у вас, товарищ, основное? Но, обжегшись на предыдущих упражнениях в цвете и патетических разворотах, я должен был быть настороже в другом – и промолчал. Бог с ними, с талантами. Он же по-прежнему являл собой полное смирение, согласие и уют, даже добровольно ботинки снял, чтоб не натоптать в комнате, где я уже почему-то двигал шкаф. Он, между тем, скромно, без аффектации поведал, что редко кто может делать портреты. Что это трудоемкая операция, требующая не только передвижения мебели, но умения, времени и терпения. Я узнал также, что каждое лицо, оказывается, имеет свой стиль и абрис и если эти качества в лице не найдены и не выявлены – то будет не портрет, а очередное «тяп-ляп». Лицо же, нашедшее свой единственный стиль, обретает власть, легко источает ее обаяние. Не переставая открывать одну истину за другой он скромно попросил отцепить веточку вьюна от стены, чтобы перенести его в ту комнату, где будут происходить изыскания моего истинного лица. Обдав неприятным теплом стыда, пронеслась мысль: как мало я знаю, надо что-то делать со своим невежеством и, конечно, нужно больше читать. А то вот ведь человек – и ничего-то в нем сверхъестественного вроде и нет, а светится, искрится, излучает и к тому же еще и двигает. Его тихий голос упрямо расползался по всем уголкам нашего дома и немного давил на виски. И я поймал себя на том, что, как дятел, обалдело твердил: да, да, да. Дескать, все это я тоже знаю. А честно говоря – ну ни в зуб ногой. Я, может быть, и не догадался бы так вот «дадакать», но мне не однажды приходилось видеть, как люди, пытаясь скрыть свою необразованность, принимались так усердно, с проникновеннейшими лицами поддакивать, что это, должно быть, осело во мне дурным примером.



На даче! Сын Филипп, галчонок Яшка, котенок Васька и я на отдыхе в Комарово

Значок ракурса и стиля был по-прежнему тих, спокоен и миролюбив, не выявляя никаких своих превосходств; он усадил меня перед собой, как врач – больного пациента, сказав:

– Ну что же, давайте посмотрим...

Не понимая, что мы должны были смотреть, и от неловкости, что ничегошеньки-то не знаю, я как можно шире открыл рот. Дескать, у вас знание, мастерство и творчество, ну а мне уж ничего другого не остается, как держать рот варежкой.

Он это не принял, вроде даже не заметил моей выходки, а стал серьезно изучать тайны моего лица, прищуром своих глаз оказываясь то у левого моего уха, то у правого. Найдя что-то, он вдруг застыл, молча, не шевелясь оценивая открытие. И наконец завершил этот процесс словом: «Ага!» Воспитанный по системе Станиславского, призывающей к чуткому восприятию жизни партнера, собеседника, я чуть было не выпалил: «Угу!» – но вовремя спохватился. Творческий процесс есть творческий процесс, и здесь уж лучше сидеть себе каждому со своим «угу» и помалкивать.

– Запомните это положение головы, юноша, – тихо сказал он, совсем, не смущаясь тем, что я был лет на пятнадцать старше его, – и смотрите сюда, еще, еще, еще. Взгляд глубже, пожалуйста. Ага! Та-а-а-ак, так, так, тактактактактактактак, – уже сплошняком кудахтал он, напоминая курицу, собирающуюся снести яйцо.

Из другой комнаты вбежала жена, недоумевая, что здесь такое может происходить. Это его как-то немного поуспокоило.

– Вот так... – закончил он свои трели, – пожалуй, что-то появляется.

Я был убежден, что это «что-то» он обнаружил много раньше, а оказывается – только сейчас: всегда я ошибаюсь.

– Так! – сказал он вдруг отрывисто и окончательно. – Принесите, пожалуйста, стакан воды...

Думая, что он хочет пить, я предложил ему хлебного кваса.

– Нет, от кваса волосы слипнутся и не будет того величия в общем контуре.

– Какие контуры... где слипнутся?

– Дорогой мой, человек приходит в мир жалким полуфабрикатом, болванкой, из которой не многим удастся прорезаться остроносом Буратино.

Незаметно я прикоснулся к своему носу – он был туп, как картошка.

– Человека надо делать, вырезать. Если позволите, я буду вашим папой Карло – несите, пожалуйста, воду.

Поразительное дело: ну болванка там, не болванка, это, очевидно, зависит от общей социальной установки, но побежал за водой я какой-то деревянной походкой и, помню, подумал: значит, еще не прорезался из полена.

Вскоре голова у меня была мокрая, и он выкладывал на ней разные завитушки и хвостики, которые, впрочем, совсем не поубавили моей болванистой задереженелости. Скорее, напротив. О фотографиях этого творческого поиска говорить не стану – не надо, но долго, ожесточенно долго рассматривал снимки...

И вот этот своеобразный, многоликий народ – репортеры, их неумное желание творить и вытворять со мной и из меня как бы явило собой негласный ответ фразе, некогда брошенной директором Московского театра-студии киноактера, которого я, в конце концов, дождался-таки.

Директор тот, оказывается, говорил короткими броскими фразами с неожиданными паузами, которые он расставлял так странно и по-своему, что определить, закончил ли он говорить вообще или это только перерыв в его мыслях и монологе, было далеко не просто. Директор говорил со мной на ходу. Начал он у двери своего кабинета, куда я, увидев его,

подбежал, и закончил на лестнице – вот той самой удивительной фразой, заставившей меня многое переосмыслить в моей жизни.

– У нас театр... – здесь он сделал свою первую паузу, а мог бы и не делать, я и без того знал, что у них театр, а не конюшня. – Студия киноактера, понимаете, киноактера, – продолжил он, давя на «кино», и поднял при этом указательный палец вверх, да так, что исключил малейшую возможность пребывания кино в другом месте – оно должно было быть только где-то там, в высях. Я доверчиво задрал голову вверх в надежде увидеть, понять, каким это образом оно там оказалось, – зеленоватые разводы от сырости прохудившейся крыши, и никаких кино там не увидел.

Но директор продолжал так пронзительно смотреть, а один глаз его вдруг начал вроде приближаться ко мне!.. Невероятно... самостоятельно, едва ли не выкатываясь из глазницы. От неожиданности я взглядом онемело впился в это феноменальное, самодвигающееся око – не выплюхнулось бы на ступеньки лестницы между нами. Палец по-прежнему застыло указывал вверх. Лицо директора не шевелилось, однако глаз, судорожно дернувшись в сторону, стал вбираться обратно, восвояси. Казалось, око уходит холодно, безразлично, ни разу не обернувшись. Так, я думаю, удалялась тень отца Гамлета прочь от своего рефлексировующего сына, по ходу бросая в бездну вечности: «Прощай, прощай и помни обо мне!»

Время остановилось – я обомлел. Только вспоминая этот его вид сейчас – меня и то бьет озноб, а тогда я просто стоял и смотрел, не смея звука молвить, не то что слова вымолвить.

Неделей позже, когда оторопь прошла, я вновь появился таким зыбким силуэтом на его пути, но теперь уже в кабинет. Надо было как-то варьировать обстановку, чтоб не надоело одно и то же из месяца в месяц. Я решил! И вот в этом уж не варьировал. Вид, наверное, был у меня довольно жалкий, но и наглый одновременно. Второе, вероятно, у меня происходило со страху, по совместительству. Я немой, взглядом кричал:

– Ну что же там еще новенького в наших потолках... а?! Так же ль все течет, плывет и каплет, а?? – На этот раз я, должно быть, переострил, и оторопь с меня перебросилась на него. Так мы стояли и смотрели: я на него, он в меня. Да так долго и не шевелясь – мне стало казаться, что он вспоминает, где же это он мог видеть меня раньше, – столь пристально смотрел он. В нем, правда, угадывались и совершенно иные, но вполне определенные мысли.

Но я оставался на месте. И с какой это стати я должен был куда-то такое идти! Нет. Я решил. Это мое решение было окончательным. Он только напрасно тянул время. Разговор должен был наконец состояться, не могли же мы так вот молча стоять и пялить друг на друга глаза. (Мысли-то, слова-то какие хорошие – один друг выпятился влюбленно на другого друга.) Я утром даже первую фразу заготовил для начала разговора, которой намеревался расположить к себе директора, она, правда, невеста уж как умна, но ведь друг же, товарищ и брат! Фраза эта добрая и светлая, я остановился на ней только потому, что она каким-то странным образом напоминает наш прекрасный лозунг: «Мы за мир». Просто его я сказать не мог, потому что это и так понятно, иначе зачем бы это мы львиную долю всего бюджета страны убивали на гонку вооружения? Не согласны? Ну хорошо, скажи я: «Мы за мир». Ну и что? – это никак не развернуло бы наши отношения, поэтому я перевел эти добрые слова в личные. Вот эта фраза: «Я рад вас видеть, здравствуйте, вы сегодня так хорошо выглядите».

Но я никак не мог сообразить, удобно ли человеку, стоящему столбом, говорить, что сегодня он выглядит много лучше, чем вчера. Значит, как же он выглядел двумя днями раньше? Я и представить даже не хочу. Вот это меня останавливало, и я молчал.

Тихо, доверительно, но уж слишком четко, он выговорил, отчего вынужден открыть мне глаза, почему он так долго не принимал, да никогда и не примет меня в Театр-студию киноактера. (Правда, через месяц я уже работал в этом театре, но это уже скучная деталь.)

В этот раз он удивил меня, говоря сплошняком, без своих пауз, на которые я надеялся, и мне с превеликим трудом удалось вставить лишь:

– Видите ли, я актер...

– Что вы все заладили: актер да актер, у нас кинопроизводство – понимаете? – И опять кино оказалось в высях. Наверное, между перстом и глазом существовала какая-то тайная связь – палец полз вверх, глаз выкатывало вперед. Я незаметно изготовил ладонями двойную пригоршню – ловить око.

– Ну а ваше лицо разве можно снимать?

Стоя с ковшичком рук и совершенно перестав что-либо соображать, я все же нашел в себе силу и основание выхамить фразу:

– А почему нет?

И вот он, апофеоз моих хождений и тревог. Я думаю, все верно. Верно, стоило ждать, терпеть, надеяться, чтобы услышать такое.

– Лицо у вас не то... не киногоеничное, – здесь он сделал наконец свою паузу, – лицо.

Все, конец. Дальнейшее – молчание. Не надо утруждать себя и задавать вопросы: быть или не быть – все ясно. «Не киногоеничное лицо». Я слышал этот технический термин и раньше, но никак не мог предположить, что именно ему суждено будет обрушить на меня всю современнейшую армаду советского кинематографа, с дотошными фотографиями, художниками, операторами и гримерами, чтобы как-то бороться или хотя бы временно противостоять этому злу на моем лице, року, этой, честно говоря, совершенно мне ненужной и неизвестно откуда взявшейся некиногоеничности.



Мой друг Евгений Урбанский

Не думаю, чтобы он уж слишком долго стоял надо мной и втолковывал, какое у меня ненужное лицо; наверное, он вскоре ушел – я не видел. Хотелось пить, только пить... Странно: сейчас, должно быть, полдень, а сумерки. Вверх угадывались ступени лестницы, каждая ступенька затянута каким-то толстым войлочным материалом, прочно прижатым светло-желтой полоской меди... Не просто, должно быть, пришлось потрудиться, чтобы долгую лестницу эту одеть... полоска медная, а винты в ней из обычного металла – стальные, вроде некрасиво, не сочетается.

Холод внезапный завлажневших рук... Нехорошо. Однако сколько воды в реках утекает в разные моря и водоемы, а они все не выходят из берегов – наоборот, даже мельчают. Какое уймище воды в Байкале, а Ниагарский водопад – тьма! И домик наш – флигель на пригорке... К воде спускаться нужно очень осторожно по крутой, неровной тропинке – оступись и в крапиву: не смертельно, а больно – жуть как. И никакой там не водопад, а река Енисей и собор огромный, белый собор, в нем еще контору «Сибпушнины» сделали. Летом, после того как вода спадет, можно бегать по полянке в одной рубашке, и никто ничего тебе не скажет, а хочешь – в мелкой, мутной Каче пескарей лови...

Это откровение директора о моем лице меня прямо-таки подкосило – дня два я мучительно соображал, как же быть теперь? Но ответа не нашел. Видя мое раздумчивое состояние, она через друзей своих сделала возможной встречу и разговор с Иваном Александровичем Пырьевым, кинорежиссером и в то время директором «Мосфильма». Проводив меня до студии, она вдруг деловито, конкретно сказала:

– Будь прост, серьезен – это многое решит.

Раздосадованный, что она видит во мне какого-то фигляра и обращается как к недоразвитому, я спросил:

– Как ты думаешь, очень будет неудобно, если, заволновавшись, я вдруг забуду, как меня зовут?

– На неудачи не жалуйся, не прибежняйся и не скромничай – ты одаренный человек и нужен им, нужен много больше, чем они могут предположить пока.

– Так ему и сказать, что ли?

– Хватит игрищ, будь самим собой, наконец! – И, увидев выворачивающийся из-за угла троллейбус, не простившись, не сказав ничего больше, она побежала к остановке.

В самых важных, ответственных моментах жизни человека – все от него бегут, и он остается один как перст, и не на кого ему положиться.

И поэтому я был поражен и чуть не вывалился из окна приемной студии, увидев, что она ждет, вышагивая у проходной «Мосфильма».

Серьезно, как врач, смотря на меня, время от времени записывая что-то, слушал меня Иван Александрович. Сейчас-то я понимаю – выкроить полчаса из управления сложным, эмоциональным организмом «Мосфильма», даже в конце рабочего дня, мог только человек или умеющий думать о завтра, или безмерно добрый. Совершенно не зная его, но лишь ощущая в неторопливом, сухощавом человеке силу и масштаб, я, хоть и говорил все дельно и по существу, взмок весь, и когда Иван Александрович, дав мне письмо, предварительно запечатав его, протянул на прощание руку, я – даже страшно вспомнить – подал ему холодную, как лягушка, мокрую свою длань. Кошмар!

Что написано в письме? Мы вертели, крутили, стараясь прочесть его на просвет, смастерив для этого из настольной лампы подобие рентгеновского аппарата, строили различные предположения о содержании письма, и, чтобы, наконец, покончить с неизвестностью и домыслами, кто-то посоветовал распечатать письмо, осторожно прогладив его горячим утюгом... но эта «великая идея» была тут же отмечена.

Так и не узнав, что там в письме, я отнес его в Театр-студию киноактера той самой, хорошо знакомой мне секретарше, сказав:

– Иван Александрович просил вот передать вашему директору...

– Какой Иван Александрович?..

– «Какой Иван Александрович»?!

И вдруг мне пришла шальная мысль воспользоваться ее перепуганно-наивным вопросом и посмотреть, как это может выглядеть:

– Как, вы не знаете, кто такой Иван Александрович, дядя Ваня?

– Дядя Ва... позвольте, вы что же... что, Иван Александрович Пырьев ваш...

– Да-да-да, вы правы, Иван Александрович Пырьев, наш именно он... и именно наш... – перебивал я, стараясь избавить ее от излишней конкретности толкования моей родословной, тем более что я и сам-то ее точно до этой минуты не знал.

Бедная женщина – мне было жаль ее, однако отступать было поздно, и скромно, как делал это раньше, еще не будучи племянником, сказал:

– Днями я зайду опять, до свидания. – Только издали демонически зыркнул в ее сторону.

Дня через четыре по телефону меня пригласили оформлять документы. Все вокруг оказались милыми, отзывчивыми людьми, полными внимания и чуткости. Но, правда, с меня взяли слово, что я никогда не только сниматься, но даже стремиться сниматься в кино не буду, а только работать на сцене. Памятуя о своем лице, я с легкостью согласился никуда не стремиться. И честно держу это слово до сих пор.

Свет

Детство – пора неосознанного богатства золотого запаса времени, пора игр, драк, сборищ и шалостей на пыльных улицах сибирского города, беззаботно-веселого катания с горы на санях или лыжах до испарины, до приятного утомления. Детство неразумное, когда азарт набить карманы, пазухи ранетками из соседнего сада много выше спокойной возможности иметь все то же самое из своего. Детство бездумное, в чем-то сложное, но почти во всем бездумное, может быть, этим прекрасное, но и страшное...

Сначала ласково будит мать: «Кешутка, вставай, блинов поешь, потом опять ляжешь!..»

Потом настойчиво воспитывает среда.

Затем властно призывает жизнь. Но это все будет еще не скоро, где-то там, далеко впереди.

А пока, просыпаясь, уносил парное ощущение блинов и вместе с недосмотренными снами шел на уютную, согретую утренним солнцем завалинку дома, у которой играли в бабки и пристенок; с огорода еще несло свежестью росы, и горластые сибирские петухи своими нагло-пронзительными криками упрямо напоминали, что день настал и жизнь продолжает катить по своему привычному руслу. Дядя Вася, уходя на работу, бросал:

– Ну чего сидишь, как старичок? Взял бы книгу – впереди жизнь!

Днем учился: писал в тетрадах, листал книги, неосознанно, должно быть, готовился к жизни, которая впереди. После школы бегал купаться в мутной, прогорклой воде небольшой речушки Качи, которая, разливаясь в весенние паводки, покрывала собой всю полянку на старом базаре Красноярска, и наш дом на косогоре каким-то чудом превращался в «хижину на берегу», в которой легко проклевывались первые ростки смутных надежд и познаний. Что-то читал, что-то видел, много слышал, хотел узнать. Одно уходило и забывалось, другое оседало, оставляя след.

И однажды вдруг был схвачен чем-то, о существовании чего и не подозревал, но оно существовало, оказывается, и до того дня, до меня. Наверное, то было в классе седьмом или восьмом, следовательно, в год 40-й или 41-й.

Кто-то из одноклассников дал мне, едва ли не по секрету, историю быстрой гибели Раскольникова и долгого-долгого его воскресения.

Полного, точного впечатления вызвать сейчас заново невозможно, боюсь нафантазировать; вспоминаются же лишь обрывочные, смутные, холодные по безысходности и тоске ощущения, сходные разве что со зловещим сном, столь страшным, что даже уютный зов матери: «Кешутка, вставай, блинов поешь...» – не в силах был вырвать из оцепеняющего состояния горя, единственная возможность избавиться от которого – это сей же миг проснуться самому.

И, напротив... чувство раздирающего трепета радости в конце романа, когда в висках стучит и слезы в счастливом смятении не мешают проглатывать страницу за страницей и вновь возвращаться к ним, к тем страницам, где несчастный Раскольников обретает наконец истинный смысл бытия и валится на колени от нахлынувшего открытия, что он человек, человек и любит ее, Соню, и будет любить всегда. Зачем пересказывать?

«Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг, она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье: она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута...



Любимый отдых – костер на поляне. Комарово, 1962 год

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь...»

Наверное, некоторые страницы эти я перечитывал по многу-многу раз, потому как, вернувшись к роману в работе над фильмом «Преступление и наказание», я встретился с ними не только как с чем-то знакомым мне ранее, но едва ли не знал их наизусть. Чем был просто поражен. Но более был удивлен, что плакал точно так же, как когда-то в далеком детстве под высоким небом Сибири. И был совершенно раздавлен, когда Соня испугалась, помертвев от обнажившихся перед ней истинных человеческих чувств. Такого она не испытывала никогда раньше, и теперь только бы выстоять, выдержать эту непомерную ношу выстраданного счастья, о страшном желании которого даже в помыслах невозможно было позволить признать самой себе. Федор Достоевский щедро одаряет тех, кого так долго водил дорогами испытаний ради их обновления, ради чувства человеческого достоинства, но много щедрее наделяет он читавших и читающих те строки.

...Та книжка «Преступление и наказание» была истрепанная, и, как припоминается, в этой ее ветхости-старости таилась вечная жизнь этой книги. Своим детским воображением я не мог представить, что это все было сочинено когда-то человеком, похожим на нас, — представлялось, что все заключенное в ней существовало всегда, как воздух, настолько это

не походило на знакомую мне уже в ту пору литературу, на хрестоматию; просто казалось, что был вызван к жизни человек, который уже готовое взял да и записал.

Я говорю о Достоевском не потому, что благодарное человечество периодически отмечает его юбилеи, а потому, что не могу не говорить, и знаю, что скажу это и через много лет, так же как просветленно станут плакать над теми же страницами наши дети и – убежден! – внуки. Ведь он был, есть и будет всегда. Время, жестокое время, призванное сокращать сроки жизни, здесь лишь помогает завоевывать поколение за поколением, отдавая дань всегда сущему набату человеческого в человеке.

* * *

Не знаю, как бы сложилась моя творческая жизнь и вообще моя жизнь, если б меня не столкнуло с наследием Достоевского.

Мое истинное познание Достоевского, его властное вторжение в мою взрослую жизнь началось с момента работы над образом князя Мышкина и продолжалось во всех последовавших за Мышкиным работах, сколь бы отличны и далеки они ни были по сути, драматургии, эпохе и социальным воззрениям.

Моего Гамлета во многих рецензиях называли добрым Гамлетом – это, мне кажется, справедливо. Добро было лейтмотивом Гамлета, идущим через весь образ, а вместе с ним – и через весь фильм. Тогда как Гамлет взял лишь малую долю того, что составляет человеческую сущность Льва Николаевича Мышкина (правда, эти зерна упали на благодатную почву драматургии Шекспира).

Именно в этой-то доброте многие видели новое, современное прочтение. Трудно предположить, каким был бы Гамлет в нашем фильме, если ему не предшествовал бы князь Мышкин (в моих работах, я имею в виду). Несомненно лишь одно – он мог быть каким угодно, но только не таким, каким он состоялся, то есть обогащенным влиянием Мышкина Достоевского.

Появление на свет наивного, чудаковатого честняги Деточкина было бы просто невысказано без первозданной простоты, непосредственности, самородной мудрости Льва Николаевича.

Илья Куликов из «Девяти дней одного года» многими еще при чтении сценария был «обозван» скользким типом, не по-настоящему мыслящим человеком, отрицательным персонажем. Я читал сценарий, допустим, в хорошем настроении или в пору больших надежд и упорения настоящего, но подобная оценка Ильи Куликова вызвала у меня лично недоумение и сожаление по адресу тех «дальтоники», которые светлое путали с... более темными тонами. И эта моя экранная работа тоже была последствием соприкосновения с высоким по духу и чувству князем Мышкиным. И не мне об этом говорить, но едва ли не во всех отзывах о фильме звучало: Илья Куликов оказался одним из светлых и добрых, если не самым добрым персонажем картины. Быть может, у меня не получился в заданной степени теоретик-физик, но не увидеть человека, человека емкого, тонкого, не лишнего чувства дружбы, добра и любви, просто, по-моему, невозможно...

Сейчас некоторые склонны думать (и писать), что-де, мол, моя актерская принадлежность имеет совершенно конкретную направленность – к добру, к человечности. Мне не хотелось бы оспаривать это по причинам, человечески вполне понятным, – не буду же я рубить сук... Но если уж это и есть, то истоки такой направленности могли зародиться и зародились лишь у доброго и могучего родника, которым для меня всегда останется Федор Михайлович Достоевский.

Доказательством тому – случай, жизнь.

Театральный режиссер Г. Товстоногов, работая над инсценировкой романа «Идиот» в Большом драматическом театре имени Горького в Ленинграде, случайно посмотрел в то время фильм с моим участием. У него тогда был уже свой исполнитель на роль князя Мышкина. Как рассказывает сам Товстоногов, посмотрев фильм, он не мог отделаться от ощущения, что где-то видел этого актера. Но оттого, что никак не вспоминалось где, когда и что именно (да и не могло вспомниться – мы никогда в жизни не встречались с ним), назойливое перерастало в изрядно надоевшее, а уж это последнее – в противно-навязчивое. Что-то, от чего хотелось отделаться, отмахнуться, сбросить с плеча и, освободившись, решить нечто крайне важное для себя; и тогда многое, если не все, станет ясным, понятным, привычным, жизнь войдет в нормально-обыденную колею и мания уступит, наконец, место норме.

Немало времени прошло, и вот однажды на репетиции совсем иной постановки он вдруг воскликнул (очевидцы утверждают: заорал):

– Глаза!.. У него его глаза!

– У кого? Чьи глаза?

– У него глаза князя Мышкина!

– У кого глаза князя Мышкина?

– У него!

– У кого «у него»?

– У актера, как его... ну из этого, фу ты... ну из фильма... Иванова. Глаза!!! Его глаза.

Вот прицепился, а? Два месяца не отпускал...

Присутствующим при этом было на что смотреть. Скучно не было, но и веселого-то тоже было немного. Главный-то режиссер заговариваться стал.

Попозже, через месяцы, я был приглашен на эту роль, и хотя глаза у меня оставались Мышкина, не менее полугода со мною было невыносимо трудно всем партнерам и режиссуре; едва ли не на протяжении всего репетиционного периода меня можно было снять с роли, и подобные пожелания настоятельно высказывались многими окружающими меня в ту пору товарищами по работе, друзьями-актерами, да и сам я с превеликой радостью и благодарностью отказался бы от нее. Тогда это было бы равносильно освобождению. Обретению себя.

И лишь теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, какой бы то был страшный шаг и для меня, и для моих слишком уж мышкинских глаз. А ведь все сулило такую легкость, со всех сторон слышались «добрые» напутственные указания: «Вам ничего не надо играть, верьте своим глазам, глядите – и все пойдет». Другой (перебивая первого): «Ну, это просто написано для вас. И нечего вымучивать ни себя, ни нас». Что я мог ответить на это и на многое подобное другое?

Вспоминаю ту дрожь, которая охватывала меня, то первое соприкосновение с миром мысли и чувства Достоевского. «Да-да, конечно», – отвечал я вслух на внимание и заботу. Но вел я себя крайне нечестно, потому как в это время думал: «Позвольте, что же здесь такого, способного трясти и потрясать, открывать новый мир, и не только открывать, но и вовлекать в него – я же знаю себя, не мог же Достоевский проследить свои идеи через личность масштаба, подобного мне». Не случайно в первых редакциях романа он именовал своего героя «князь Христос», явно обобщая этим именем все светлое и самозабвенное в человеке ради окружающих его. И вот в этой сгустившейся творческой, совсем нелегкой репетиционной атмосфере непростых человеческих взаимоотношений Достоевский вел меня к выявлению всего того доброго, что дремало во мне, что нужно было еще только вызвать к жизни, пробудить. Потребовались работоспособность, которую невозможно выявить в словах, терпение и терпимость не только моей режиссуры, но и значительно в большей степени мои собственные, а главное, твердость (несмотря на опасно участвовавшие делегации актеров со стенами и требованием снять эту «киношную немощь» с роли) Георгия Александровича,

чтобы, тем не менее, сообщая мы могли сперва постичь, уверовать, а лишь затем преподать со сцены всю глубину человечности, доброты и масштаба личности Льва Николаевича.

Лед дал трещину и двинулся...

И я обрел тогда то, что теперь может показаться как само собой разумеющееся и едва ли не врожденное. Мой Мышкин стал входить в мир людей, откровенно и несколько бесцеремонно всматриваться тихо в их лица, даря взамен на эту кажущуюся бестактность тепло своего сердца и безраздельно всего самого себя. Вся первая половина спектакля, несмотря на некоторую затемненность сюжетного драматургического материала, была напоена трепещущей светлой надеждой, едва ли не уверенностью в прекрасном исходе начавшегося пути к людям, к лицам. И как эта надежда вместе с ее проводником постепенно рушится, вовлекая в обратный, гибельный путь всех тех, кто не поверил, не помог ее реализации и оставил «камни за пазухой», лишь соприкоснулся с ней. Сполохи той светлой уверенности то и дело озаряли значительную часть этого трагического похода к людям, но именно эти сполохи, освещающие тьму, говорили, что жертвы исполнены смысла и после себя оставляют надежду, обещают новых ее проводников.



Проба на роль князя Андрея Болконского в фильме «Война и мир». Режиссер Сергей Бондарчук очень хотел снимать меня в этом образе, но именно в это время я должен был начать съемки в «Гамлете». На совмещение того и другого Козинцев истерически не соглашался. Если бы Бондарчук предложил Пьера – я бы отказался от Гамлета. Я говорил Бондарчуку об этом, но его актерский эгоизм победил... и, как мне кажется, «Война и мир» проиграла

Спектакль давно прошел, но и поныне слышу ту, около двухсот раз повторявшуюся, настороженно-взволнованную, на грани крика, тишину в зрительном зале, ту тишину, един-

ственно способную увести весь зал вместе с героями в тот высокий мир простоты и искренности, доверчивости, населенный Достоевским таким удивительным существом и личностью, как Лев Николаевич Мышкин.

Мне довелось присутствовать при довольно некрасивом, если не сказать более остро, споре о Достоевском. Хотя суть спора, вызвавшая повышенные тона и затаенную раздраженность спорящих, была весьма и весьма конкретна – Достоевский и его труды, разговор был беспредметный. Спорящие, как показалось мне, были больше заняты выявлением своей классовой, социальной неприязни друг к другу, чем Достоевским и его местом в нашей жизни. Да и Достоевского-то та и другая сторона этого эмоционального дерби знала, думается, недостаточно для защиты и гордости им или для порицания и отрицания. Спор был глупым, неловким до стыда, потому как он был нечестным.

Она. Как можно проходить мимо того, что составляет нашу гордость, делать вид, что его нет, а если есть, то не надо, не наше, видите ли, не о том и не теми средствами!.. И это об истинно русском писателе, книги которого должны быть настольными в каждом доме!

Он. Мрак, задворки, изнанка, где все нравственные уроды копошатся в грязи и вроде бы гордятся своим падением, – недурная рекомендация для повседневного чтения...

Она. Нет-нет увольте, я не могу позволить себе цинизм рекламировать то, что в рекламе не нуждается. Его читает и боготворит весь мир!

Он. И уволим, не беспокойтесь, все в свое время, а читают потому, что на этом самом Западе именно такими-то и хотят нас представить: видеть нас уродами, не способными постоять за себя, воспитать нового человека, построить свою жизнь, выстоять в борьбе.

Ее повышенная эмоциональность выглядела средством защитить нечто обладающее сомнительными достоинствами. Это в то время, когда творческое наследие Достоевского проверено временем, стало неотъемлемым достоянием мировой культуры, нашего национального самосознания, основой духовного мироздания одного из великих народов, который может себе позволить щедро делиться со всем человечеством своим всечеловеческим. «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» – говорил Достоевский в речи о Пушкине, подтвердив это собственной судьбой.

...И совсем уже не хотелось выслушивать притянутую вульгарную социологию, за которой невозможно было не слышать лжегражданственности, замешенной на неумении отличить Достоевского от наносного – достоевщины. А она никоим образом не относится и не может относиться к писателю. Как ничего общего не имеет Антон Павлович со скучной и нудной чеховщиной, которая довольно долгое время заполняла театральные подмостки России. Может, с моей стороны тоже самонадеянно заявлять так, но опыт, трудный опыт обстоятельной работы над двумя романами Достоевского, право же, позволяет если не обобщить, то просто высказать, что уже есть: сила светлого начала в Достоевском столь непомерна, аккумулировала столь мощный заряд стремления к доброму, что это может ослепить и порой ослепляет не выдержавших этого яркого потока стремлений; нужна адаптация. На солнце легче смотреть через темные очки. Но, привыкнув, победив первый момент непривычного ослепления, узришь здоровое, доброе начало, борющееся с болью, болезненностью и мраком.

Может, то другая крайность, но мне представляется: сам Федор Достоевский, его труды призывают противостоять достоевщине.

Наше актерское самомнение поистине безгранично, и в этом мы уступаем, пожалуй, лишь отдельным сценаристам и, безусловно, едва ли не всегда, кинорежиссерам. Только здесь мы смущенно можем стоять в сторонке, наблюдая за ошеломляющими аттракционами-рецидивами препарирования великих: Шекспира, Толстого, Чехова. Просто диву даешься... Неужто последуют еще? Что греха таить, мы тоже очертя голову беремся порой

за то, кое к чему и на расстояние не должны бы подходить, если б мы реально оценивали свои возможности.

Телефон из далекой Москвы донес усталый голос режиссера, друга:

– Приезжай, дорогой. Попытаемся осилить...

До меня доходили слухи, что он начал подбор исполнителей для «Преступления и наказания». Я не задумывался, не стар ли я для Раскольникова. Раз это не смущает режиссера – пожалуйста. Мыслями и сердцем уже давно готов для финальной сцены этого юного героя.

Слышимость была недурной, спутать я не мог; режиссер спросил:

– Кто тебе больше по душе?

– Ну как – кто?!

– Что ж ты мычишь там? Порфирий или Свидригайлов?

Я даже мычать-то был не в состоянии. Поделом тебе, старый лапоть.

...Казалось бы, по тем изведанным путям-дорогам, по которым мне привелось пройти в предыдущих работах, я должен был бы остановиться на Свидригайлове, коль скоро позволен выбор. Так ведь нет же, хотелось нового, неизведанного, едва ли посильного. Актерский эгоизм и самоуверенность не знают пределов.

И как ответ и предупреждение касательно моего выбора был случай: в комнате съемочной группы всюду по стенам были развешаны эскизы персонажей «Преступления и наказания». Тонко знающий и, главное, тонко чувствующий материал, художник по костюмам демонстрировал одежду персонажей, но не это привлекло мое внимание, а то, что каждый персонаж был изображен, написан в яви своего характера, с точным выделением особенностей психологии каждого, вплоть до самых эпизодических лиц. По понятным причинам я рыскал взглядом по стенам, отыскивая Порфирия Петровича. Там были все...

– А где же он?

– Ничего не получилось, как ни старалась. Будто студень, мокрое мыло, ускользает, невозможно уцепить, задержать.

Казалось, что может быть проще – ведь все написано, написано столь ярко, до предметности... И только потом, когда начали репетировать, я понял всю опрометчивость своего выбора и тщетность представления в конкретности этого лица, его оплывающей изменчивости. Как ни бились мы вместе с режиссером Львом Кулиджановым, выискивая контрастные ритмы, которые так легко предлагал Достоевский в этом образе, увы, выявить их я не смог. И как мне представляется сейчас, они в своей неровности выявления и широте выброса доступны кому-то сверхъестественному. Дьявольские ритмы!

И мы исподволь, сами того не ощущая, уклонились преимущественно к логическому началу Порфирия. Оно в нем есть, безусловно, но не в той степени, в какой Достоевский проследживает Человеческое в каждом персонаже – его особенности, его характер, его привычки, его мироощущение, его самобытность. Но в том-то и сложность образа Порфирия, что его самобытность – в переливчатости, это разоружило Раскольникова, тщательно подготовившегося к борьбе со следствием, но отнюдь не ожидавшего встретить в следователе такого человека, который говорит ему: «Ведь общего-то случая-с, того самого, на который все юридические формы и правила примерены и с которого они рассчитаны и в книжке записаны, вовсе не существует-с, потому самому, что всякое дело, всякое хоть, например, преступление, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай-с...»

И не странно ли, что следователь, который призван профессиональностью, законом лишь изблечь, поймать, изолировать, тут старается натолкнуть на пути возрождения, раскаяния, то есть обращается к совести? Не поборник ли это светлого начала? Не того ли самого добиваются Соня и ее любовь к Раскольникову?

Достоевский преподавал прекрасный урок: не профессиональная принадлежность, не повседневная функция важны в выявлении сути характера, но прежде всего, и только, душевная самобытность – человеческое в человеке.

...Как бы я ни формулировал влияние Достоевского на мои работы и как бы неумело я ни говорил о своем отношении к его творчеству, и влияние и поклонение мои есть, и пока они есть – я богат. Что ни произойдет потом, огромная полоса жизни, освещенная его героями, останется незабываемой, светлой полосой жизни, к которой постоянно будешь возвращаться памятью и сердцем, как возвращаются к самому дорогому, что у тебя было.

И я счастлив оттого, что не только не одинок, а просто разделяю общую любовь всего просветленного Достоевским человечества.



«До будущей весны». Учительница – Людмила Марченко. Мало кто знает, что благодаря этому фильму я был приглашен на Гамлета. Григорий Козинцев был на одной из репе-

тий этого фильма. Я репетировал, выстраивал сцену, спорил, отстаивал и помогал своему другу Соколову. После репетиции Г. Козинцев был взволнован и сказал, что он нашел то, что искал

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.